

ЛЕВ ЛИНЬКОВ

Рассказы о пограничниках

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



ЛЕВ ЛИНЬКОВ

Рассказы о пограничниках

Рисунки **А. ЛУРЬЕ**

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974

СОДЕРЖАНИЕ

Для старшего возраста

Лев Александрович Линьков

РАССКАЗЫ О ПОГРАНИЧНИКАХ

Ответственный редактор В. М. Писаревская. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор Г. Е. Гафт. Корректор Э. Л. Лофенфельд. Сдано в набор 29/VIII 1973 г. Подписано к печати 16/I 1974 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 3,86. Тираж 300 000 экз. Заказ № 612. Цена 15 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Калининский полиграфкомбинат детской литературы имени 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Линьков Л. А.

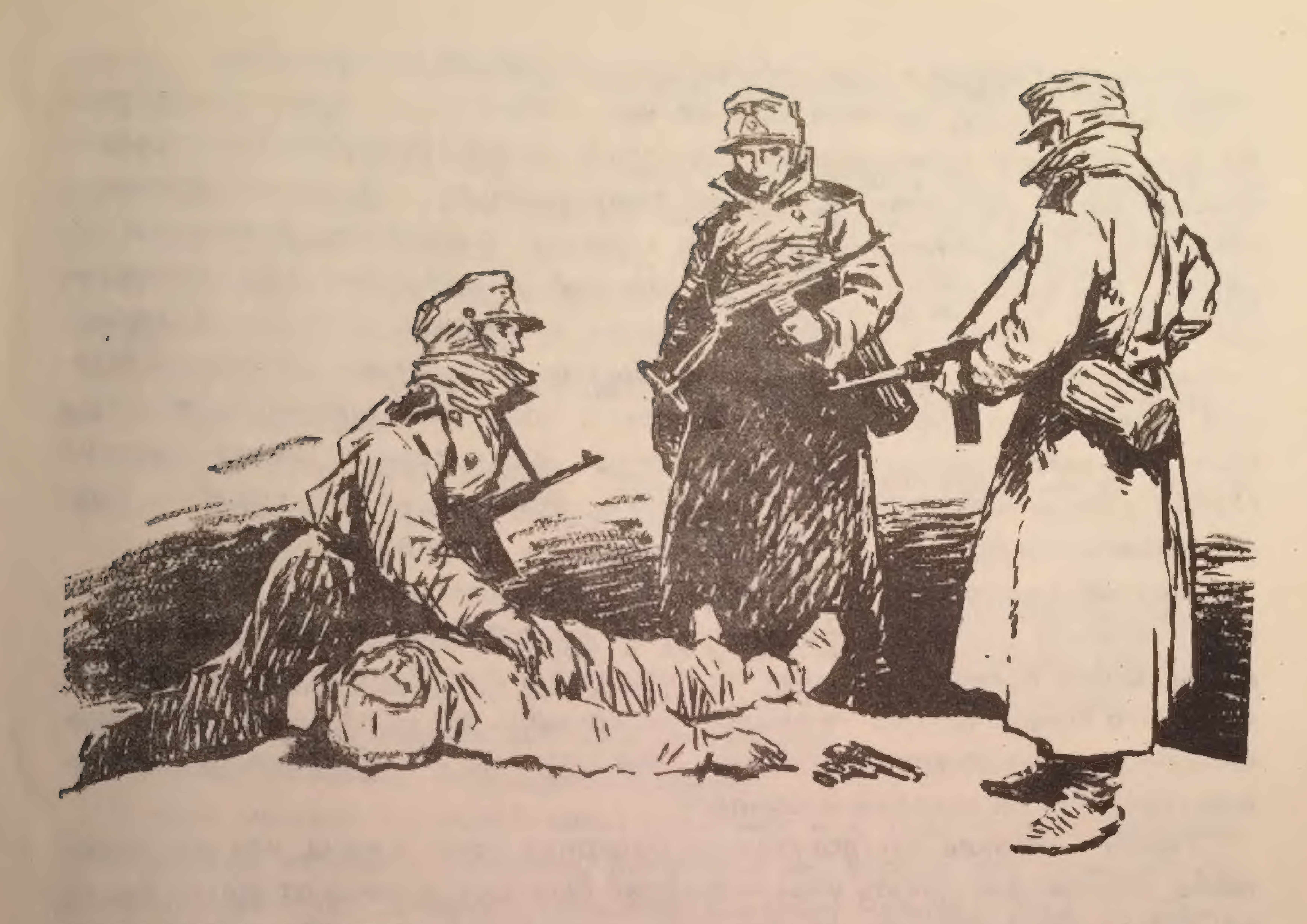
Л59 Рассказы о пограничниках. Рисунки А. Лурье. М., «Дет. лит.», 1974.

64 с. с ил.

Рассказы о советских пограничниках, о преданности и любви к своей великой Родине, о воле, не знающей преград, о храбрости и воинской смекалке.

Л $\frac{70803-083}{М101(03)74}$ 260—74

Р2



СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Полтора суток назад Андрей Светлов, Павел Петров и Усман Джаныбаев, разведчики Н-ского пограничного полка, перешли линию фронта между высотой Зеленая макушка — летом вся она покрыта ковром зеленых трав — и Большим болотом. Сделав немалый крюк, они подкрались с тыла к базе горючего у немецкого аэродрома и взорвали замаскированное в скалах бензохранилище. Все вокруг осветилось, как весенним днем, и всполошившаяся охрана обнаружила их. В перестрелке Андрей был легко ранен в левую руку чуть повыше локтя. Он не заметил, как в суматохе боя оторвался от товарищей, взяв круто на север. Задыхаясь от быстрого бега, Андрей споткнулся об обледенелый валун, упал плашмя, больно ударившись грудью. Капюшон маскировочного халата сбился, шапка слетела с головы. Колючий наст оцарапал щеку. Сердце билось, как в силке. «Нет, нет, мы еще поживем... Мы еще будем жить...»

С полчаса над тундрой гремела пальба. Андрей, помогая правой руке зубами, с трудом перевязал рану.

«Живы ли Петров и Джаныбаев? Удалось ли им скрыться?..»

Отыскав шапку, натянув поверх нее капюшон, Андрей осмотрелся. На юге все еще взметывались багровые языки горящего бензосклада. Километрах в двадцати к востоку тьму ночи прочеркивали огненным пунктиром трассирующие зенитные снаряды и взлетали осветительные ракеты. Там был фронт. На севере колыхались в черном небе гигантские полотнища сполохов, озаряя холодным пламенем пустынные холмы. Холмы искрились фиолетовым, оранжевым и палевым цветом. Студеный ветер дул с норда, с края земли, и поземка мела мерцающую в свете сполохов снежную пыль. И оттуда же, с севера, ветер доносил глухое уханье корабельной артиллерии. «Наверно, наши корабли поддерживают высадку десанта в тылу вражеских позиций...»

Ощупав здоровой рукой лыжи («Слава тебе, целы...»), закинув за спину автомат, Андрей пополз. Он полз метров двести или двести пятьдесят, снова огляделся — нет ли кого поблизости? — и, лишь убедившись, что вокруг никого не видно и не слышно, встал на лыжи. Всю ночь он шел на северо-восток, радуясь, что сполохи в небе погасли, и сверяя свой путь по звездам и компасу.

Утром — стояла круглосуточная полярная ночь, а часы, как им положено, показывали девять утра — Андрей был уже далеко от места взрыва. Едва передвигая ноги от усталости, держа под мышкой лыжи, он карабкался по крутому склону.

В черном небе вновь вспыхнуло северное сияние. Кляня его, Андрей прижался к скале, тревожно огляделся. Внезапно совсем невдалеке, справа, гулко затрещали очереди автоматов.

«Уж не Петров ли это с Джаныбаевым бьются с погоней?» Андрей начал поспешно спускаться к обрыву, из-за которого доносились выстрелы, и тут то ли от слабости — он потерял много крови, — то ли из-за выскользнувшего из-под ног камушка сорвался и кубарем покатился вниз. С треском переломились лыжи, ремень автомата зацепился за острый выступ скалы, лопнул, и автомат отлетел куда-то в сторону.

Если бы не сугроб, огромной подушкой прикрывавший карниз над обрывом, Андрей разбился бы насмерть.

«Где же автомат?» Опомнившись от удара, он попытался было найти оружие, но тщетно: по-видимому, автомат угодил в расщелину.

Андрей подполз к краю карниза и увидел, что происходило внизу, на покрытой снегом скале: шестеро рослых немцев — вероятно, стрелки из горной дивизии «Эдельвейс» — с трех сторон подползали к оди-

нокому человеку. Ему и укрыться-то, бедному, негде: скала ровная, гладкая, как стол.

Кто же он? В свете сполохов Андрей не узнал в нем ни Петрова, ни Джаныбаева. Может быть, это летчик с подбитого над вражеской территорией самолета?.. Нет, конечно, не летчик, откуда у летчика маскировочный халат! Наверно, это тоже разведчик. Время от времени он отстреливался из пистолета.

— Эх, браток, браток, — в волнении шептал Андрей одеревеневшими от мороза губами.

Если бы хоть одна граната, хоть одна! Пустыми кулаками с автоматами не повоюешь. Да к тому же еще раненая рука...

И вдруг перестрелка прекратилась. Неужели убили?

Северное сияние разгоралось все ярче. Могучие невесомые полотнища заколыхались еще сильнее, и Андрей отчетливо увидел, как лежащий под обрывом человек достал из-за пазухи какую-то бумажку, быстро разорвал ее на мелкие клочья и сунул в рот.

«Нужная бумага», —догадался Андрей.

В этот момент эдельвейсовцы вскочили и с трех сторон ринулись к лежащему на снегу человеку. Вскочил и он. В руке его сверкнул вороненый пистолет, хлопнул одинокий выстрел. Человек упал на спину. Пистолет покатился по насту. Андрей чуть было не вскрикнул. «Сам себя убил...»

Двое солдат перевернули разведчика, торопливо обыскали его карманы. Пятно крови чернело на снегу.

— Готов! — поднимаясь, сказал один из солдат по-немецки и стал оттирать снегом испачканные в крови руки.

Был бы Андрей в силах, он обрушил бы на врагов скалу. А они, словно по команде, заплясали, нелепо размахивая руками, начали тузить друг друга по бокам. Допекаемые морозом, быстро надели лыжи и, вскинув автоматы за спину, побежали на запад.

Андрей вспомнил, что у него под масхалатом вокруг пояса намотано метров пятнадцать тонкой крепкой веревки: разведчики всегда запасались ею на случай, если придется спускаться с отвесных скал. Скинув варежки, он размотал веревку. Пальцы закоченели, нестерпимо пекло рану, но все же он умудрился сделать петлю и накинуть ее на торчащую из сугроба глыбу гранита.

Скорее вниз! Может быть, у застрелившегося разведчика есть еще какие-нибудь бумаги, которые он не успел уничтожить и которых не нашли фашисты.

Разведчик лежал, запрокинув голову. Глаза были закрыты. Отблески северного сияния озаряли бледное лицо: губы плотно сжаты, между опушенных инеем бровей пролегла суровая складка. В свете сполохов Андрею показалось, что веки разведчика чуть-чуть дрогнули. Но в тот же миг на землю упала тьма. Сияние потухло так же внезапно, как и зажглось.

Андрей стал на колени, обнял здоровой рукой разведчика, обнажив ухо, прильнул к окровавленной, еще теплой груди. Жив!

Когда Андрей с великим трудом перевязал ему грудь, разведчик пришел в сознание и, увидев склонившегося над собой человека, рванулся. Видимо, он подумал, что его захватили в плен...

— Я свой, русский, русский, — зашептал Андрей. — Немцы ушли... Видишь? Я свой.

— Вижу, — невнятно прошептал раненый. Кровь пузырилась у него на губах. — Сообщи в штаб... — Он помолчал, хрипло дыша, и вновь заговорил: — Дивизия «Эдельвейс» получила два новых полка... На высоте... — Он поперхнулся, в горле у него булькало. — На высоте триста сорок семь... Запомни: триста сорок семь — четыре тяжелые батареи... четыре... Я Тюменев Георгий...

Раненый силился еще что-то сказать и не мог.

— Ты сам все расскажешь, — зашептал в ответ Андрей. — Я тебя донесу, и ты расскажешь. Тут близко. Проскочим...

До линии фронта было километров десять, и Андрей не думал сейчас, где именно и как им удастся «проскочить» через эту линию, он думал лишь о том, как бы суметь преодолеть эти десять километров.

Упавшая на землю тьма обрадовала его: они растворились в ней. Только бы не вздумало снова заиграть северное сияние. К счастью, потеплело, небо заволокло тучами и над тундрой потянулся туман. Так бывает в Заполярье: стоит перемениться ветру, и за какие-нибудь полчаса — погода вверх тормашками...

Андрей лег рядом с Тюменевым, как можно осторожнее взвалил его себе на спину, пошатываясь, привстал на колени и, лишь отдышавшись, смог подняться на ноги. Раненую руку будто проткнуло раскаленным шомполом, он невольно заскрипел зубами и, чтоб тяжесть не давила на больную руку, движением плеч передвинул Тюменева чуть вправо.

Тюменев застонал. Стон показался таким громким, что Андрей испугался, как бы кто не услышал.

— Тише, браток, тише, — зашептал он. — Потерпи. Извини, что я тебя так...

Согнувшись, придерживая Тюменева здоровой рукой, Андрей пошире расставил ноги и зашагал. Шагал он медленно, боясь споткнуться о камень или угодить в трещину или бомбовую воронку.

— Тюменев, Георгий, слышишь меня?

Тюменев не отвечал. Может быть, он опять потерял сознание, а может быть, забылся. Андрей рискнул прибавить шаг. Сначала он считал шаги, но вскоре сбился со счета. Одна неотвязная мысль владела сознанием: «Скорее надо идти, скорее...»

Оступился Андрей на ровном месте. Правая нога почему-то вдруг подвернулась, и он едва удержался, чтобы не вскрикнуть: острая боль пронзила лодыжку. С трудом сохраняя равновесие, балансируя свободной рукой, Андрей приподнял ногу — боль тут же отпустила. Однако стоило ему стать на эту злосчастную ногу, как он чуть было не упал: словно кто-то наотмашь ударил по щиколотке поленом.

Раза два или три пытался он сдвинуться с места, но не смог, и его охватило отчаяние: «Что ж теперь делать?»

— Оставь меня, иди один, — прошептал Тюменев, будто разгадав лихорадку мыслей незнакомого друга.

Голос у Тюменева был совсем слабый, слова срывались у него с языка с какими-то всхлипами.

— Сейчас, браток, сейчас все будет в порядке! — Придерживая Тюменева, Андрей опустился на четвереньки и пополз.

Где-то высоко в темном небе пролетели на бомбежку вражеских позиций наши дальние бомбардировщики. Андрей узнал их по гулу моторов. Отбомбившись, самолеты возвратились обратно, а он все полз и полз по припорошенным снегом камням.

Левая рука горела, и на нее нельзя было опереться. Маскхалат давно изодрался в клочья; были продраны и ватная куртка и ватные штаны. Андрей в кровь иссек колени и правую руку. Он был весь мокрый от пота, в груди у него сипело, то и дело нападали приступы кашля. Тогда он останавливался и, заткнув рот рукавицей — поблизости могли быть враги, — натужно кашлял в нее.

Лечь бы в снег, отдохнуть, уснуть бы хоть на несколько минут! Но это невозможно.

Временами Андрею казалось, что Тюменев умер. Тогда он ложился на снег, прислушивался: дышит ли? — и снова полз, волоча вывихнутую ногу.

Его мучила жажда, и, лишь еще более распаляя ее, он глотал снег. Вместе со снегом ему попадались замерзшие ягоды морошки и брус-

ники. Горьковато-кислые, водянистые, они не утоляли голода, а вызывали противную оскомину, и все же, морщась, он с усилием проглатывал их, потому что не ел уже более суток.

А Тюменев словно бы прибыл в весе за эти часы: тащить его с каждым метром все тяжелее и тяжелее. Андрею вспомнилось, как на погранзаставе он играючи подбрасывал двухпудовую гирю и выжимал штангу в сто килограммов. В Тюменеве, наверно, нет и семидесяти...

Вспомнив заставу, он вспомнил и первый выход в ночной наряд. Это было в конце мая позапрошлого года. А через месяц началась война...

Прилечь бы отдохнуть самую малость, уснуть бы хоть на несколько минут... Нет, нельзя ложиться... ляжешь, и силы совсем покинут тебя, а нужно скорее добраться до линии фронта, за ней тепло, еда и, главное, санбат...

На возвышенностях почти весь снег сдуло ветром, а в ложбинах рука по локоть проваливалась в сугробы, и подбородок тыкался в наст. Зернистый снег колол губы, забивал ноздри. Андрей отплевывался и снова и снова кашлял, прикрывая рот рукавицей и в страхе оглядываясь вокруг.

Пистолет Тюменева — Андрей разыскал его давеча на площадке и засунул в карман — больно давил на бедро, и казалось, что в этом чертовом пистолете с пуд весу. «Нельзя бросать оружие, нельзя», — твердил себе Андрей и вдруг сообразил, что в пистолете нет ни одного патрона. Тогда он вытащил его из кармана, собрав остатки сил, ударил мушкой о гранитный валун.

А валуны, как назло, попадались все чаще и чаще. В одном месте путь преградила целая гряда обледенелых валунов. То была морена древнего ледника, но Андрею казалось, что кто-то специально выложил здесь эти огромные камни, перебраться через которые нет никакой возможности. Минут сорок, а может быть, и час он полз вдоль гряды, пока не выискал в ней проход.

Сердце колотилось так часто, что спирало дыхание. Все чаще начинала одолевать непонятная, не испытываемая доселе зевота. Андрей широко, до звона в ушах разевал рот и никак не мог зевнуть до конца.

Если бы можно было передохнуть хотя бы с полчасика, четверть часа! Полежать бы, не двигаясь, не шевеля ни рукой, ни ногой, забыться, ни о чем не думая, ничего не видя, ничего не слыша.

— Тюменев! — хрипло звал Андрей, пугаясь собственного голоса. — Тюменев, ты слышишь меня?

Тюменев не отвечал.

«Дивизия «Эдельвейс» получила в подкрепление два новых полка... На высоте триста сорок семь установлены четыре батареи тяжелых орудий... Если я остановлюсь, силы совсем покинут меня, тогда я не доползу до своих, не расскажу... Может быть, Тюменев еще жив...»

Горела уже не только раненая рука — горела и голова. Тысячи раскаленных молотов без умолку стучали в виски и в затылок. И при каждом неловком движении острой болью давала знать о себе вывихнутая нога.

«Туда ли я ползу?» — Андрей взглянул на светящийся компас на запястье и в ужасе убедился, что ползет не на восток, а на юго-запад. Давно ли он так ползет? Тьма, ни одной звезды.

А фронт был уже недалеко: все отчетливее клекотали пулеметы, ухали минометы; распарывая воздух, с завыванием проносились вверху снаряды дальнобойных орудий. Товарищи Андрея ведут бой, а он... Доползет ли он до них? Силы совсем оставили его.

Снова подул утихший было ветер. Туман стал рассеиваться. В небе сверкнула звезда. Увидев ее, Андрей обрадовался, как штурман, увидевший огонек маяка у входа в родную гавань. Эту звезду видят сейчас и его товарищи...

Всего минуту назад Андрей готов был поддаться чувству отчаяния. Они с Тюменевым были так одиноки в этой каменистой, заснеженной пустыне! Теперь он отчетливо представил, что по снегу, среди валунов, пробираются сейчас десятки наших разведчиков: одни направляются в тыл врага на выполнение заданий, другие возвращаются «домой». И, может быть, некоторым из них так же трудно, так же тяжело, как и ему, Андрею...

— Тюменев, ты слышишь?.. Скоро будем дома. Слышишь?.. Крепись!

Слова, срывавшиеся с потрескавшихся до крови губ, помогали ему, и Андрей шептал.

Еще несколько метров осталось позади, еще...

«Который теперь час?» — Андрей очнулся от забытья. Он лежал на снегу, раскинув руки. Долго ли он так пролежал? Где Тюменев? Торопливо закинул руки за спину. Раненый был там, но не двигался, и Андрею стало страшно: вдруг Тюменев замерз? Надо ползти. Надо, надо...

Он прополз еще метров пять, приостановился, прильнув лицом к снегу, полизал распухшим языком шершавый наст.

«Все будет хорошо, — твердил он себе. — Все будет хорошо...» Но что такое? Кто-то гонится следом за ними на лыжах. «Фашисты?» На лбу

выступила испарина. Андрей замер. «Может быть, они пройдут стороной?»

Неожиданно в небе снова заиграли сполохи.

— Нашел! — послышался знакомый голос Джаныбаева.

Он остановился около Андрея и Тюменева, с удивлением и страхом разглядывая их неподвижные тела.

Подкатили еще три лыжника в белых халатах, с автоматами на груди.

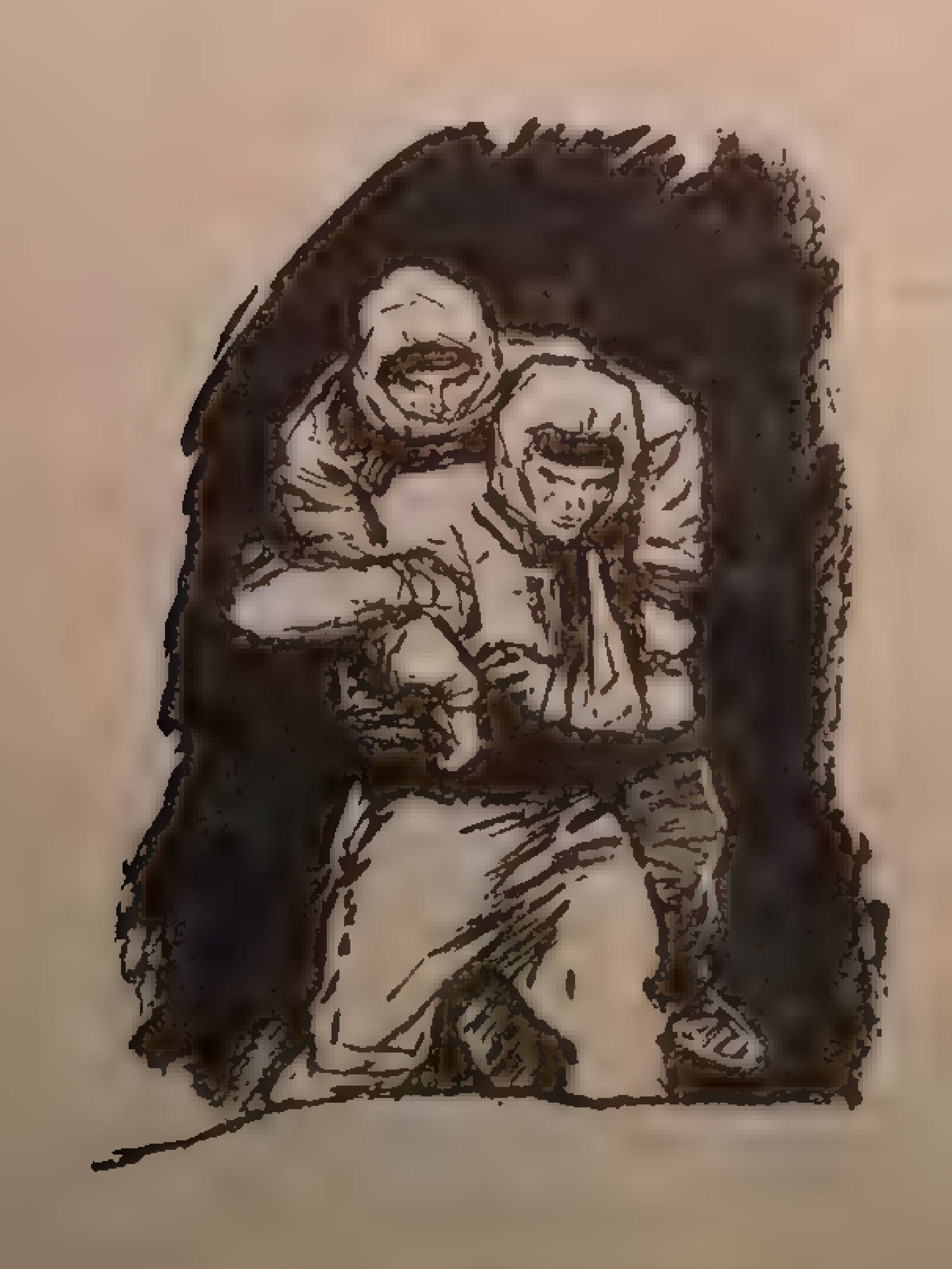
— Оба мертвые, — прошептал Джаныбаев.

Андрей услышал этот шепот. Ему хотелось закричать от радости, а он мог только пошевелить рукой...

Лыжники осторожно сняли со спины Андрея почти безжизненного Тюменева. Андрей попытался подняться и не смог. Джаныбаев подхватил его под руки, прижал к груди, торопливо начал отвинчивать пробку фляжки.

— Высота... высота триста сорок семь... четыре батареи тяжелых... Два полка прибыли... Скорее Тюменева в санбат...

Все ярче и ярче разгоралось северное сияние. Гигантские разноцветные полотнища трепетали в черном бездонном небе.





СЕРДЦЕ АЛЕКСАНДРА СИВАЧЕВА

Эту быль, похожую на легенду, нам рассказал осенью 1944 года восьмидесятилетний Яков Брыня, житель белорусской деревни Головенчицы, что близ Гродно. Возможно, и не все сохранила его память — чересчур уж много лиха выпало на седую голову: фашисты насмерть засекли жену — старуха не выдала партизанские тропы, — угнали на каторгу дочь, спалили дом, и сам он поранен — правая рука висит плетью. Но, глядя на его испещренное глубокими морщинами лицо, в глаза его, все еще ясные и мудрые, каждый из нас чувствовал: ничто не сломило гордого человека.

— По-разному живут люди, — начал старик, — кто ярким пламенем горит и себе на весь век и другим света его хватает, идешь за ним — и тепло тебе, и дорогу впереди далеко видать. А бывают и такие, в которых огонек чуть теплится. Комар чихнет — погасит. Таким и под ногами темень...

Гляньте, за крайними хатами земля черным-черна. Там пограничная застава стояла; там и жил старший лейтенант Александр Сивачев с пограничниками. Солдаты у него были как на подбор, один к одному. И сам товарищ Сивачев хоть и молод был, а с большим огнем в душе! Любили у нас на деревне и Александра и его бойцов. Не упомнил я, как всех по именам звать. Знаю: заместителем у Сивачева состоял Петр Грищенко, лейтенант. Ординарцем — Ваня Нехода. Ездовым — Корниенко, тоже Иван. Были еще рядовые: Куприянов, Кононенко, Власов, а других по имени назвать не могу.

В ладу мы, колхозники, с пограничниками жили. Чуть какая неясность либо заминка — к Сивачеву. Он и рассудит и объяснит. Кого неизвестного в поле или в лесу узреем — опять же на заставу: так, мол, и так, неясный для нас человек вокруг Головенчиц бродит.

По вечерам и воскресеньям вся наша молодежь сбегалась к заставе. У пограничников и баян и балалайка, играли — заслушаешься, и песни пели звонко, а лучше всех играл и пел сам Александр...

Будто вчера та суббота была двадцать первого июня сорок первого года. Проходил я перед полуночью близ заставы. Гляжу — старший лейтенант вывел своих молодцов, и они окопы лопатами подравнивают: то ли чуял старший лейтенант, что напасть идет, то ли так по планам было положено. Спрашиваю: «Чего, мол, вы так усердно землю тревожите?» Александр только улыбнулся: «Надо, дед».

Ночью я снова на баз к скотине выходил — дом мой находился как раз в соседстве с заставой,— слушаю: звенят лопаты, работают пограничники. А под утро, когда совсем уже светло стало, — будто небо треснуло над нашими Головенчицами. Вскочил я, глянул в окно — огонь вокруг. Выбежал в чем был на улицу. Женщины кругом криком кричат, дети плачут, скотина обезумела.

С нашей околицы пальба гремит, на границе. Долго ли сообразить — война! Фашист напал. Все поджилки у меня от страха затряслись. А чем Сивачеву помочь? Вилами да лопатой пулю со снарядом не упредишь. Пришлось в погребе хорониться. Народу там понабилось! Плачь, стон. «Нам-то здесь что, — говорю женкам, — а каково пограничникам?» Не утерпела душа, выбрался из погреба. Фашисты вовсю рвутся — через нашу деревню на шоссе прямой путь. А пограничники не пускают: целую поленницу врагов наложили перед окопами.

Фашисты поняли, видно, — не по зубам орех. Приставили к животам автоматы и пошли по огородам в обход. Пули кругом летят, на лету горят, а пограничники замолчали. Неужто всех перебил проклятый?

Только подумал я — опять из окопов пулемет начал стрелять. Фашист спину с пятками показал. Отлегло от сердца. Подполз к забору. Поле и опушку оттуда видно хорошо. Гляжу — враги пушки выкатили. Как полыхнет! Меня ветром сдуло, глаза песком забило, вроде ослеп. Земля ходуном ходит — снаряды рвутся на самой заставе.

Вспомнил я прошлую войну, когда сам был в солдатах, догадался: фашист ведет огонь прямой наводкой. Протер глаза, привстал и опять с копыток долой. Сразу несколько снарядов в казарму угодило. Крышу снесло, дом рухнул, и огонь до самых облаков.

Снова фашисты пошли в атаку. С трех сторон бегут, горланят. Совсем пьяные. А наши опять молчат. Не иначе, на этот раз окаянный враг перебил пограничников. И тут слышу Сашин голос: «Огонь! За Советскую Родину огонь!» И где силы взяли наши пограничники?! Все вокруг горит, бревна попадали на окопы, земля изрыта снарядами, вроде бы там нет местечка для живого человека — а живы, бьются!

Моя старуха набралась храбрости, выбралась из погреба, за ноги хватает: «Уйди!» Где там уйти! Махнул я на нее рукой: «Сама хоронись!» — и к заставе. Пули над головой зик-зик, а потом слышу Ваню Неходу: «Куда ты, дед? Я, говорит, тебя не признал, чуть в покойника не обернул!» Тут и Сивачев появился. Голова перевязана. На перевязке кровь, а лицо строгое, спокойное. «Не тревожься за нас, дед, и вы, товарищи колхозники, не тревожьтесь!» За мной следом еще человек пять приползло. «Вас здесь безоружных перебьют, забирайте жен с ребятами, стариков да в лес». И отправил всех обратно.

Тут опять пушки загрохотали, опять враг по заставе начал бить прямой наводкой. Дополз я до своей хаты, а вместо хаты — костер.

А время уж к полудню. Немец опять в атаку с трех сторон пошел. А Сашка молчит. Нет, думаю, жив он, угостит вас сейчас. И верно: стреляют, стреляют наши! Только звук уж не тот — один пулемет слышно с той стороны, где я Сивачева видал, и винтовок пять, не больше. Одних фашистов в гроб кладут, а другие лезут и лезут. Глядь — уж мимо колодца трое бегут, в руках гранаты, замахнулись да так в землю и плюхнулись, подкосил их Сашин пулемет.

Тогда по земле гул прокатился. Из рощи выкатилось восемь танков. На бортах черные кресты. Грохочут, из пушек, из пулеметов палят. Один на переднем окопе вертится, другие — прямо на заставу.

Что это слышу? Песня! Грохот, пальба, а песня над всем, будто орлица, взлетела, и ничто не в силах ее заглушить. Танки остановились. А Александр Сивачев из окопов во весь рост поднялся, и за ним пяте-

ро пограничников. Запели «Интернационал» и с гранатами ринулись на фашистские танки...

Что дальше было, не видел: в погреб меня утянули. Смотрю — рука окровавилась. Раньше и боли не чуял.

Бой смолк только часа в два после полудня. Стороной ушел на восток. Наши люди, кто посмелее, из погреба вышли, я за ними — и на заставу. Там угли, земля да кровь. Погибли наши дорогие товарищи — которые от снарядов, которые от пуль, а кто под танками. Вот как бились пограничники! Одиннадцать часов бились! Три танка пожгли. Шестьдесят четыре фашиста насмерть положили. А раненых и сосчитать было невозможно.

Ночью мы опять на место боя пробрались. Достали из-под обломков мертвых пограничников и похоронили за околицей под дубом. Узнал фашистский комендант — с землей могилу сровнял. А на другое утро на том месте опять холмик вырос, и весь в цветах. Сколько раз ни разрушали враги ту могилу, она все нерушимой была.

В ночь на третье июля — вовек этой ночи не забыть! — я с внучонком в поле за цветами направился. Насобирал цветов, ползу к могиле и сам себе не верю: над братским холмом огонь мерцает. Сначала будто светлячок, а потом все пуще. Ярким пламенем поднялся.

Мне словно кто новые силы в жилы влил. Весь страх у меня перед фашистами пропал, встал я с земли, цветы вверх поднял, иду на алый огонь. А он словно из самой земли идет, живой кровью светится.

Подхожу, а огонь все выше, все шире — полнеба захватил. Поднялся я на холм, где пограничная братская могила была, понял: за лесом пожар громадный.

А утром, — продолжал дед, — пришел к нам в деревню пограничник — зеленая фуражка на голове, в руке автомат. И как он, по всей форме одетый, смог пройти мимо вражеских постов! Пришел, собрал нас, колхозников, и говорит: «Сейчас из Москвы по радио приказ вышел. Родина наша зовет весь народ на борьбу с врагом. Велено создавать партизанские отряды, не давать фашистам пощады».

«А ты сам-то кто такой будешь?» — спрашиваем.

Он вынул из кармана красную книжечку:

«Коммунист!..»

Тогда мы всей деревней и ушли в лес, к партизанам. Там узнали: ночью партизаны за лесом опрокинули под откос вражеский эшелон с бомбами. Командиром у них был тот самый пограничник, а отряд назвали именем Александра Сивачева.

Старик оглядел нас:

— Мы, крестьяне, так решили: потому Александр Сивачев и его солдаты бились до последнего, что за народ воевали, за правду. Не довелось им увидать светлый день, а знали, что придет он. На года вперед знали.

— А где сейчас командир вашего отряда? — спросили мы.

— Из Пруссии прислал весточку, фашистов доколачивает.

...В ясном небе который уж день не видно было фашистских самолетов и дыма пожаров.

Война пронеслась над лесами и долами на запад, за пределы родной земли. Чуть поодаль от дороги широко раскинул ветви могучий дуб, и лист у него, не глядя на сентябрь, еще зеленый и крепкий. Под дубом, за голубой оградой, — красный обелиск, увенчанный золотой звездой. Молодые елочки обступили скромный памятник, чистый песок желтеет на тропе. Мы обнажили головы, подошли к могильному холму и положили на него рядом с выцветшей, полуистлевшей зеленой фуражкой поздние осенние цветы. Было нас восемь солдат, лейтенант и седой старик.

Кто-то вслух прочел:

— «Здесь похоронены героические защитники советской государственной границы, павшие смертью храбрых в неравном бою с фашистскими захватчиками двадцать второго июня 1941 года...»

Прошла минута, а может быть, три. Лейтенант подал команду, мы вскинули автоматы и выстрелили залпом три раза. Это был наш салют в память людей, которых никто из нас не знал, не видел в лицо, но которые были для нас больше чем братья.





ТОМИК ПУШКИНА

1

О награждении Терентия Иванова орденом Ленина мы узнали в конце октября 1944 года, в северной Норвегии. Наши войска обошли тогда с юго-запада Киркенес и штурмом овладели этим старинным рыбацким городком, превращенным гитлеровцами в военно-морскую базу на Баренцевом море.

Обошли... Кому из фронтовиков не казался обидным телеграфно-краткий язык военных сводок? Ведь он не мог дать даже самое приблизительное представление о напряжении боя, о том, что на самом деле означает обход укрепленного пункта противника под артиллерийским огнем и бомбежкой, сквозь минные поля и проволочные заграждения. К тому же, если взять тот же Киркенес, мы «обходили» его промозглой заполярной осенью, скользя на обросших лишайником скалах, провали-

ваясь в вязкую болотную трясину, перекарабкиваясь через гряды огромных мокрых валунов, форсируя реки.

Сверху сыплет то дождь, то мокрый снег. И сам промокнешь, продрогнешь, о кружке горячего чая мечтаешь, как в детстве мечтал об именинном подарке...

Мы проклинали и непогоду, и скалы, и болота, и больше всего на свете — врага. Одно было утешение: кончается последняя осень войны! Над фронтами явственно шелестели знамена близкой победы: вышла из войны королевская Румыния, Советская Армия очистила от гитлеровцев царскую Болгарию, доколачивала фашистов в Венгрии, положила начало полному освобождению Польши, Югославии и Чехословакии, стояла на границах самой Германии. Месяц назад пала Финляндия Маннергейма...

А вот поди ж ты, здесь, на севере, в Заполярье, гитлеровцы все еще пытались удержать свои морские и воздушные базы, богатый никелем Печенгский район.

В самом начале нашего наступления и отличился Терентий Иванов. Однако, когда мы узнали, что он награжден самой высокой наградой, его среди нас уже не было...

Над Киркенесом, над крутыми скалами Варангер-Фьорда еще стлался перемешанный с туманом дым от горящих портовых складов и причалов. Рота получила приказ отдыхать. Впервые за несколько суток отоспавшись, плотно поев, выпив по пяти, если не больше, кружек обжигающего чая, мы с нетерпением ждали полевой почты.

Наконец-то и общий друг почтальон!..

— Иванову Терентию... — позабывшись, взмахнул очередным белым треугольником старшина и осекся.

2

На всем огромном фронте Великой Отечественной войны, от Баренцева до Черного моря, был один сравнительно небольшой участок, где наши пограничные части ни на шаг не отступали от советской государственной границы. Участок этот находился за Полярным кругом, в северных скалах, щедро обдуваемых ветрами всех румбов. За три с лишним года непрерывных боев на него обрушилось столько бомб и снарядов, что если бы собрать весь этот металл, то, наверно, каждому защитнику рубежа можно было бы отлить памятник.

Именно здесь с первого дня войны служил сержант-пограничник Терентий Иванов. Вместе со всеми он отбивал ожесточенные вражеские

атаки, ходил в разведку, мерз, голодал, болел цингой, перевязывал в бою раны товарищей и свои собственные, по счастью легкие, не выводившие его из строя.

Войну он начал зеленым юнцом, всего с год до этого прослужив на заставе. Был он застенчиво наивным, мечтательно настроенным. Удивительное дело: потомственный вологодский лесоруб, охотник с малых лет, как говорится, в плечах косая сажень — и вдруг скажет, глядя на звезды: «А что, братки, живут на Марсе люди?» Смертная война кипит, а он вдруг про Марс!.. Словом, войну Терентий начал пареньком, к началу же нашего наступления в октябре 1944 года он стал если не степенным, то обстоятельным, научившись в достатке и солдатскому терпению, и всему другому, что положено бывалому воину, имея на личном снайперском счету полторы сотни уничтоженных врагов.

Левый карман гимнастерки Терентия всегда оттопыривался: там рядом с комсомольским билетом и солдатской книжкой лежал томик стихов Пушкина, тот самый томик из «Малой библиотечки поэта», что вышел из печати в канун войны. Кто же из пограничников не знал и не любил Пушкина, однако именно Терентий взял с собой в окопы томик его стихов.

В редкие часы затишья, при ярком свете незаходящего летнего солнца и долгими полярными ночами, в промерзшей насквозь землянке, при колеблющемся огоньке чадной моргалки, в минуты, казалось бы, безысходной тоски по дому, по близким, нестерпимой боли по погибшим товарищам к нам приходил Пушкин.

Терентий не умел читать его так, как читают актеры с эстрады, читал он тихо, пожалуй, даже однотонно, но каждое слово шло у него из сердца. Он читал:

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии;
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?

— Это насчет «союзничков», насчет второго фронта! — хмурился снайпер Челищев, в груди у которого сипела простуда.

Шла тяжелая зима первого года войны...

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Воркслы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?

О многом, чем дышит и живет человек, о его горестях и страданиях, радостях и надеждах написал для нас Александр Пушкин стихи. А Терентий Иванов, молодой лесоруб из-под Вологды, умел найти в томике именно то самое нужное стихотворение, которое согревало, успокаивало душу или накаляло ее гневом:

Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

Мы, товарищи Терентия, оборонявшие вместе с ним родную землю у «хладных скал», долго не знали, что и сам он пишет стихи. Терентий никогда не читал их, он стеснялся читать свое после стихов Пушкина. И все-таки рота справедливо называла Терентия Иванова поэтом...

В один из первых дней октября 1944 года, когда и нашему участку фронта пришел долгожданный приказ перейти в наступление, командир полка назначил Иванова, как лучшего следопыта части, не раз и не два ходившего в разведку, проводником подразделения, которое должно было зайти в тыл горно-егерскому фашистскому батальону и отрезать ему путь к отступлению.

Терентий возвратился в роту на вторые сутки промокший до нитки, с наскоро забинтованной левой рукой. На вопрос, что с ним такое случилось, он ответил, что ничего особенного, и, прежде чем отправиться в санбат на перевязку, с трудом вытащил из кармана гимнастерки томик Пушкина с набухшими, слипшимися страницами и попросил товарищей поаккуратнее высушить книжку. Партбилет — к тому времени Терентий уже вступил в партию — он оставил на хранение в политчасти.

Старательно разглаживая каждый листочек томика, мы нашли между ними закладку и прочли подчеркнутые строчки:

Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!

На закладке едва заметны были размытые водой карандашные строки:

Пушкин, ты с нами дошел до Победы,
Сражались в одном мы строю.

И слово твое, как напутствие дедов,
Нас вдохновляло в бою.

Вероятно, несовершенные эти строки вызвали бы у знатоков поэзии снисходительную улыбку, нам же они показались прекрасными.

А наутро вся рота поразилась, узнав из армейской газеты о подвиге тихого и застенчивого сержанта Иванова. Оказывается, когда подразделение, к которому он был прикомандирован проводником, завершало окружение вражеского батальона, путь преградила горная речка. Мост через нее был взорван, строить новый некогда. Переходить всем вброд, чуть ли не по плечи в ледяной воде перед самым боем?.. Выход нашел Терентий. Он забрался в воду, положил себе на плечи стволы четырех березок — одну пару с левого берега, другую с правого — и так простоял под минометным огнем врага, пока все подразделение не перебежало по тем березкам, как по мосту. Тогда-то Терентия и ранило.

Вскоре перешел в наступление весь северный участок Карельского фронта. Под Печенгой Иванова снова ранило, на этот раз тяжело — осколок снаряда попал ему в грудь. Терентия эвакуировали в какой-то тыловой госпиталь. Куда? Жив ли он? Мы ничего не знали. Не знали мы и его домашнего адреса, чтобы справиться о Терентии у родных. Да, откровенно говоря, и не до писем тогда было — каждый день бои.

Томик Пушкина Терентий с собой взять не успел, его хранил наш старшина Никитин.

И вдруг в Норвегии, в Киркенесе, — известие о награждении сержанта Иванова орденом Ленина и письмо ему из Вологодской области...

— Наверно, от родных, — хмуро сказал Никитин.

Посоветовались с замполитом: если распечатать письмо, узнаем адрес родителей. Может быть, пока шла почта, Терентий написал им из госпиталя?

Лучше бы нам не читать того письма... Сельсовет сообщал Терентию, что его старший брат и отец пали смертью храбрых под Волховом. Мать не перенесла горя и скончалась девятого сентября. В доме Ивановых временно помещается детский дом сирот войны...

Из рассказов Терентия мы знали, что других родных у него нет.

3

Кончилась война. Все мы, кто остался жив-здоров, разъехались по родным местам. Прощаясь на Ленинградском вокзале, обещали писать

друг другу, да не все, конечно, за мирными делами и заботами помнили обещание — жизнь есть жизнь, тут и винить никого нельзя...

Года полтора назад я получил последнее письмо от бывшего старшины роты Василия Никитина, с которым мы хоть и изредка, да переписываемся. Василий — в пятьдесят пятом году он закончил технический институт — сообщал, что уезжает в Китай, на строительство моста через Хуанхэ, и спрашивал: «Не слыхал ли ты, случаем, где Терентий Иванов? Жив ли он? Я ведь до сих пор вожу с собой томик Пушкина. На досуге читаем с товарищами его стихи». — «Не слыхал», — ответил я старшине.

Признаться, я все реже и реже вспоминал Терентия, и вдруг в начале августа прошлого года он сам напомнил о себе. По газетным делам мне довелось приехать в Архангельск. Просматривая как-то утром областную газету, я прочел под небольшим стихотворением подпись: «Терентий Иванов. Соломбала».

Соломбала — предместье Архангельска, то самое предместье, куда я приехал в командировку. Из окна домика, где мы с сослуживцем временно квартировали, было видно одно из устьев Северной Двины — устье Корабельное: мачты, трубы и грузовые стрелы советских и иностранных пароходов-лесовозов, паруса рыболовецких шхун и лодок.

По дощатому тротуару протопала оживленная гурьба молодых рослых матросов — Соломбала родина потомственных моряков.

Я перечитал стихотворение Терентия Иванова — почему-то я сразу уверился в том, что это именно наш сержант.

В немногих бесхитростных строках говорилось о девушке-шофере автолесовоза, в свете немеркнущей летней зари несущей трудовую вахту на лесной бирже.

Мне захотелось во что бы то ни стало повидать Терентия, поспрошать обо всем, что с ним приключилось, сказать ему, что зря он стеснялся читать нам на фронте свои стихи: они были бы нам на радость...

— Терентий Иванов? Был у нас такой, был, — сказали мне в порту. — Шофером на автолесовозе работал, на пару с женкой. Только недавно орден Ленина за войну получил. Пятнадцать лет, чудак, не знал, что награжденный. Застенчив через край.

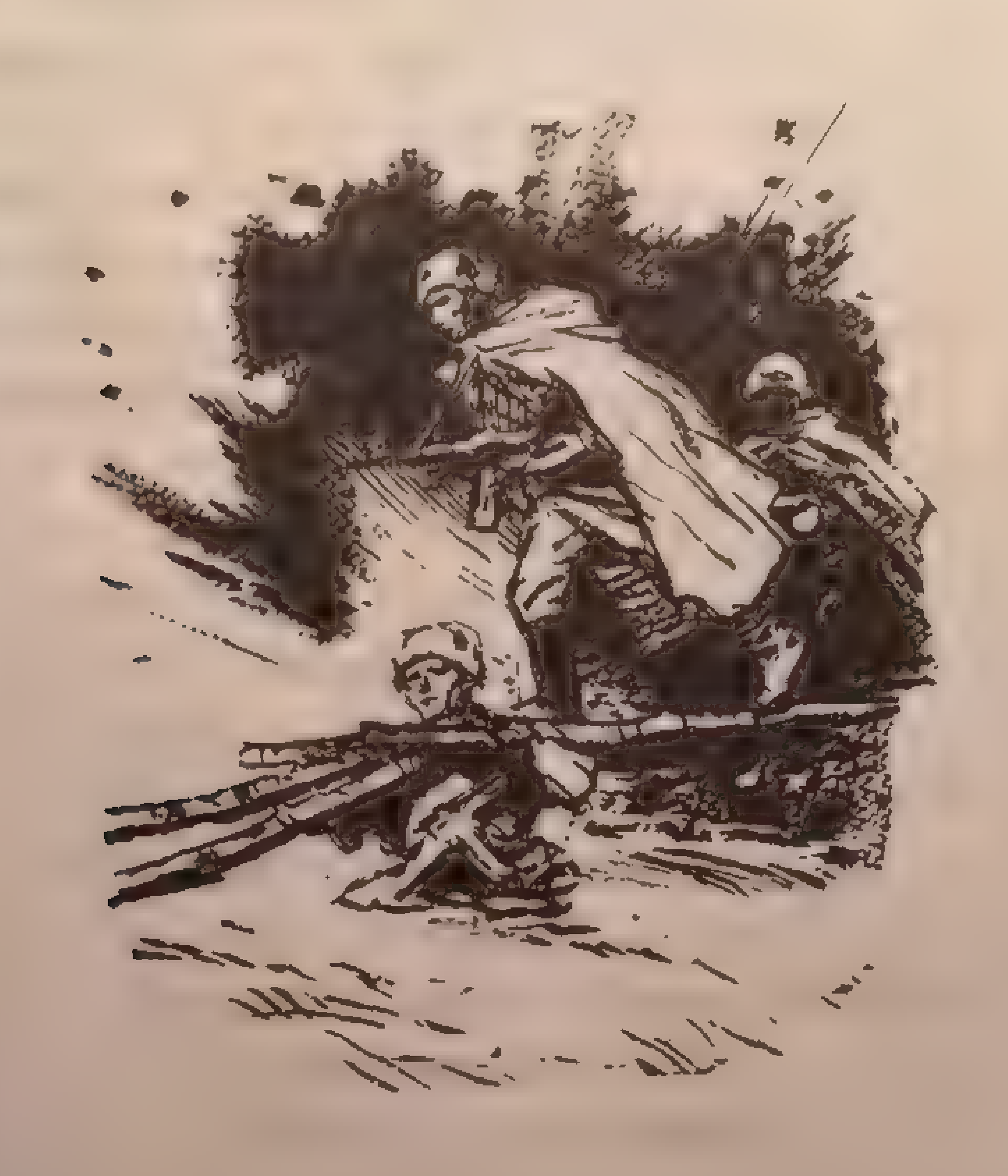
— Куда же он от вас ушел? Мне обязательно нужно его повидать, — огорчился я.

— Теперь уж не увидите. Ивановы только позавчера с якоря снялись.

— Куда же?

— В дальнюю разведку, — рассмеялся беседовавший со мной сотрудник отдела кадров. — В Антарктиду ушли на «Оби», в поселок Мирный на целых полтора года. А вы, извините, не родственником им доводитесь?

— Родственником, — сказал я.





ИНАЧЕ ОН НЕ МОГ...

1

Вторые сутки Петр метался на койке в бреду. То он звал какую-то Татьяну, то просил дать ему сапоги и с такой силой порывался встать, что Семен Прохоров едва мог удержать его. А когда к нему возвращалось сознание, он не в силах был протянуть руку за кружкой с водой, хотя кружка и стояла рядом на тумбочке.

Лейтенант Самохин еще вчера хотел отправить Петра в санчасть пограничного отряда, но, придя в себя, Петр так настойчиво просил повременить, что лейтенант согласился. Не верилось, что такой здоровый парень — на заставе никто не называл его иначе, как Крепышом, — заболел всерьез.

Сегодня утром Самохин зашел в спальню проведать больного, поглядел на его побледневшее, осунувшееся лицо с неестественно блестевшими глазами и сокрушенно сказал:

— Придется все-таки, товарищ Васильев, поехать. Меня врач распушил по телефону. Он к вечеру сам за вами заедет.

Петр больше не перечил. Снова его начало трясти — через полчаса поднимется жар.

Семен Прохоров укутал товарища вторым одеялом, накрыл сверху шинелью, а тому все равно холодно, будто он стоит босой на льду.

— Не тужи, Крепыш, — успокаивал Семен. — В санчасти уход лучше, лекарства всякие, в жилу чего-нибудь вспрыснут — и сразу на танцы!

Жена начальника заставы Екатерина Захаровна принесла манной каши:

— Кушайте, Крепыш!

А шестилетний Вовка, начальников сын, глядя, как его лучший и самый верный друг, морщась, ест с чайной ложечки кашу, не утерпел и посочувствовал:

— Я манку тоже терпеть не могу. Я ее и маленький никогда не ел.

— Уходи, Вовик, дяде Пете нужен покой, — сказала Екатерина Захаровна.

Вовка ускакал из спальни на одной ноге, однако, едва ушла мать, снова появился.

Раскатывая на табуретке хлебный шарик, он сообщал другу утренние новости. У Ласки — так звали розыскную собаку — щенята открыли глаза. Вовка боялся, как бы они не остались навсегда слепыми. Сеня Прохоров и Ваня Матюшин обещали сделать маленький следовый фонарь. Когда фонарь будет готов, Вовка пойдет с Крепышом в ночной наряд и они обязательно поймают в лесу самого хитрого шпиона.

И, наконец, самая важная новость. Сообщая о ней, Вовка предусмотрительно заглянул под кровать: не спрятался ли там кто-нибудь, — и зашептал.

Самая важная новость касается Крепыша. Вовка слышал, как папа сказал маме об этом сегодня утром. Они думали, что Вовка спит, а он только зажмурил глаза и все слышал. «Крепыш скоро поедет домой». Так сказал папа. Разве у Крепыша есть еще один дом?

Вовка вопросительно уставился на друга:

— Может, папа чего-нибудь перепутал?

— Я еще не скоро поеду, — успокоил Петр.

— Совсем не скоро?

Вовка мигом оживился и натянул Крепышу до самых глаз одеяло.

— Тебе спать нужно. Ладно?

До порога Вовка шел на цыпочках, но едва открыл дверь и увидел

в коридоре Прохорова и Матюшина — они чистили автоматы, — как затопал ботинками и громко закричал:

— Я тоже хочу чистить автомат, я умею!..

Крепыш остался один. «И зачем я обманул Вовку?» — подумал он, прислушиваясь к возгласам мальчугана: тот был уже на дворе и играл с Лаской.

Петр достал из-под подушки письмо и перечитал его в десятый раз:

«Петенька, сыночек! Скоро ли ты приедешь домой?

Люди рассказывают, будто у вас на границе всегда война. Береги себя, сынок, ты ведь один у меня. Попроси, пожалуйста, своего начальника: может, он даст тебе отпуск. И Татьяна тебя зовет. Она и письмо это пишет. Я даром что очки надела, сама писать уж не могу».

В конце письма Татьяна приписала от себя:

«Я, Петя, знаю — скоро ты не приедешь, а так хотелось бы увидеть тебя хоть на часок!»

Петр спрятал письмо обратно под подушку. Он получил его с неделю назад и до сих пор не ответил, потому что лейтенант Самохин сказал, что за отличную службу командование отряда предоставляет ему, Петру Васильеву, десятидневный отпуск для поездки домой.

Хотел обрадовать своих неожиданным приездом, и вот на́ тебе — подцепил где-то малярию...

«Кто это стучит? — Петр посмотрел в окно. — Ах, это опять Тихоня!»

Третьи сутки он не кормил сам своего любимого голубя, и тот прилетал, садился на переплет рамы, заглядывал в окно и стучал клювом в стекло.

Глаза устали, и Петр смежил веки, забылся.

Долго ли он спал?

— В ружье!..

Боевая тревога? Петр приподнял голову.

В спальню стремглав вбежали солдаты (они были в Ленинской комнате на политзанятиях), расхватали из пирамиды свои винтовки и автоматы, надели фуражки и так же стремительно выбежали во двор.

Никто из них, даже Семен Прохоров, не сказал Крепышу ни слова — некогда! Взявшись за спинку кровати, он подтянулся, чтобы быть поближе к окну. Солдаты построились. Послышался взволнованный голос лейтенанта Самохина. Лейтенант сказал, что только что позвонил по телефону председатель колхоза и сообщил о двух неизвестных, которых видели на опушке ребятишки, собиравшие грибы. Незнакомцы скрылись в урочище. Необходимо обнаружить их, настигнуть и задержать.

Прозвучала отрывистая команда, зазвякали винтовки, затопали сапоги, и все стихло.

Петр хорошо знал урочище Гнилая балка: обнаружить там спрятавшихся людей — дело нелегкое. Место низменное, топкое, особенно сейчас, осенью. В чащобе — густой подлесок до самой границы. В болотистой почве до сих пор находят человеческие черепа, кости и оружие — следы недавней войны. Отступая из Советской Белоруссии, остатки разбитых немецких частей скрывались в урочище, и многих гитлеровцев засосала вязкая топь. Не раз в Гнилой балке пытались схорониться и диверсанты и шпионы. Изрядно всякой нечисти изловили пограничники в глухом заболоченном лесу.

Приподнявшись повыше, Крепыш увидел в окно, как товарищи скрылись за пригорком.

— А я? Что же я? — прошептал он.

Пододвинул табуретку с обмундированием, начал одеваться. С трудом застегнул пуговицы гимнастерки. Почему такие тяжелые сапоги?

Пошатнувшись от слабости, Петр затянул ремень, надел фуражку, взял из пирамиды винтовку.

— Куда ты, Крепыш, больной-то? — окликнул его в коридоре дежурный.

— Здоров я!..

Свежий утренний воздух придал бодрости.

«Не так уж я и болен». Только подумал, как затуманилось в глазах, хоть садись прямо на землю.

«Сейчас пройдет, сейчас пройдет», — успокоил себя Петр и, постояв секунду-другую, быстро пошел, а потом побежал следом за товарищами.

— Дядя Петя! — Увидев Петра, Вовка чуть не кубарем скатился по лестнице с крыши, куда забрался, чтобы наблюдать, как будут ловить шпионов.

Крепыш даже не оглянулся.

— А еще друг называется! — захныкал Вовка.

Петр догнал своих у опушки.

— Вы зачем здесь? — удивился начальник.

— Полегчало мне.

— Полегчало? — Самохин хотел было отправить Крепыша обратно на заставу, но, может быть, ему и в самом деле лучше? Если бы плохо, не смог бы так бежать. — Пойдете с Прохоровым с правого фланга! — приказал лейтенант. — Прочесывать лес будем.

Пограничники вошли в Гнилую балку цепью. Ели и осины росли в урочище так густо, что даже днем здесь было сумрачно.

Сначала Петр видел идущего слева товарища, но вскоре начал отставать.

2

Услышав преследователей, Вернер Курц и его переправщик Сангушко притаились за кочкой. Бежать дальше было неразумно: грязь хлюпала под ногами, ветви трещали. Лежать нужно, не подавая никаких признаков жизни, лежать плашмя, бревном. Холодная вязкая грязь затекала в рукава тужурки, за ворот рубашки, в сапоги. Шею ломило от напряжения. Курц приподнял было голову, но Сангушко, ни слова не говоря, надавил ему на затылок, и Курц ткнулся лицом в болотную жижу. Он едва не чертыхнулся и не ударил проводника.

Как нелепо все получилось! Не нужно было выскакивать на опушку! Называется, прошли!..

Курц скосил глаза на Сангушко. Тот вдавился в грязь, сжимая в правой руке маузер.

Конечно, лучше сидеть во Франкфурте-на-Майне, в теплом кабинете, чем вот так вязнуть в грязи и дрожать от холода и страха. Но что делать? У обер-лейтенанта Вернера Курца не было иного выхода. После разгрома его дивизии летом 1944 года он долго скрывался в лесах Белостокского воеводства у своих знакомых из тайной нацистской организации, пока ему не предложили работать по заданиям не то бывшего польского, не то английского генерала Андерса в пользу, как выразились его новые хозяева, одной могущественной державы. Курц равно ненавидел и Советы и новую Польшу — и согласился. В конце концов, не все ли равно кому служить — генералу Андерсу, американцам или англичанам, — платили бы деньги!

«Вы не пожалеете, — говорили Курцу, — все это будет не так трудно осуществить...» — и дали ему в проводники вот этого Сангушко, который был чуть ли не адъютантом самого предателя Варшавы генерала Бура. Курц согласился, но он даже предположить не мог, что попадет в такую жуткую историю...

— Не сопите! — едва слышно прошептал Сангушко.

Курц затаил дыхание, уставившись на торчащий перед глазами сероватый ствол ели. «Что это?.. Неужели...»

Позади явственно послышался звук, свидетельствующий о приближении погони. «Продолжать лежать или...»



Сангушко, как бы предупреждая спутника от поспешных решений, вторично пригнул его голову. Курц от неожиданности хлебнул жидкой грязи и, будучи не в силах сдержаться, закашлялся. Все под ним засопело, захлюпало. Скрываться дальше было бессмысленно. Он повернулся, и его глаза встретились с глазами человека в зеленой фуражке.

Пограничник!..

3

Петр шел, напрягая все свои силы, а когда ноги отказались служить ему, пополз. Он осторожно перекладывал в стороны ветки, чтобы не трещали, осторожно, по очереди, вытаскивая из грязи руки, переносил их вперед.

Гимнастерка и брюки пропитались жидкой грязью, и, приподнимаясь, чтобы продвинуться еще на полметра, Крепыш остерегался: не зашумела бы стекающая с одежды вода.



В горле пересохло, а дрожь не прекращалась. Почему качаются деревья? Вон за той большой елью, до которой осталось шагов пятнадцать, почва станет тверже...

Неприятный звон неотступно раздавался в ушах. Силы оставляли Петра, и все-таки он полз и полз.

Приподняв винтовку — казалось, в ней пуда два, — крепче сжал ее: «Что это впереди? Чьи это сапоги?..»

Крепыш не успел вскочить первым. Первым поднялся Вернер Курц, и Петр увидел его лицо, залепленное грязью, с выпученными от страха глазами.

Боль, слабость, головокружение — все вмиг исчезло. «Вот они, враги!»

Целиться некогда! Петр нажал спусковой крючок: выстрел услышат свои. В ответ раздался оглушающий хлопок пистолета. Крепыш успел ткнуть куда-то вперед штыком и упал.

— Некогда! — выкрикнул Сангушко, зажимая проколотое плечо.

Но Курц и сам понимал, что добивать раненого нет времени. Не скрываясь, не таясь больше, они побежали сквозь кусты в сторону границы.

Крепыша нашли минут через пятнадцать после того, как услыхали выстрелы. Он сидел, прислонившись к стволу ели, прерывисто дышал.

— Что с тобой? — спросил подбежавший первым Прохоров.

Петр дрожащими пальцами закатал кверху гимнастерку и нижнюю рубашку. Из маленькой круглой ранки на животе текла кровь.

Крепыш очнулся лишь на заставе. Возле него сидела Екатерина Захаровна. («Почему у нее слезы в глазах?») Рядом стоял лейтенант Самохин.

Из столовой доносился приглушенный стук посуды: дежурный убирал после обеда.

И тут Петр все вспомнил, и его охватила тревога.

— Задержали? — попытался он приподняться.

— Лежите, лежите, Крепыш! — удержала его Екатерина Захаровна.

— Ясное дело! — улыбнулся лейтенант. — Твой выстрел помог...

— Хорошо... Это хорошо...

Петру стало легко, и он обрадовался, увидев, что рядом стоит и Вовка. Вовка тер кулаками распухшие глаза.

— Дядя Крепыш, я их видел. Их Сеня Прохоров караулит.

— Вовик, иди спать! — Екатерина Захаровна обняла сына и увела.

Когда она вернулась, Петр достал из-под подушки письмо.

— Екатерина Захаровна, здесь адрес мамы. Напишите ей: я обязательно приеду, только немного задержусь...

Сказал и только сейчас почувствовал: на заставе необычайная тишина. И в домино не играют, и радио не слушают... Только мошки жужжат... Нет, это не мошки, это в голове шумит...

На дворе заурчал автомобиль, заскрипели тормоза.

— Наконец-то приехали! — прошептала Екатерина Захаровна.

— Ну, где ваш малярик? — шумно входя в спальню, спросил врач.

— Ранен он. Пока вы ехали, его ранили, — сказал Самохин и тихо добавил: — Минск предлагает выслать за ним самолет.

Врач склонился над Петром, осторожно сняв временную повязку, осмотрел рану, отрицательно покачал головой:

— Необходима немедленная операция. — Он повернулся к Екатерине Захаровне. — Приготовьте, пожалуйста, кипяток, таз, чистые полотенца и бинты. И как можно быстрее...

Над урочищем занималось новое утро. Не по-осеннему голубое небо перечеркивали перистые облака. Воздух был тих. Недвижимо стояли ели, и желтеющие осины, и березы. Нахолодавшая за ночь почва отогревалась, и легкий пар поднимался над подлеском. Словно перекликаясь друг с другом, барабанили дятлы.

Прохоров и Матюшин шли дозорной тропой, внимательно вглядываясь в покрытую опавшей листвой землю.

Тонкий горловой звук с переливами привлек внимание пограничников. Две крохотные буро-серые пичужки ворошили траву. Увидев людей, они нахохлились, распустили веером хвостики, завертели головками.

— Вертишейки, — улыбнулся Прохоров. — Напугались-то как! А не отступают.

Пограничники обошли разволновавшихся пичуг и опять устремили взгляд на дозорную тропу. И вдруг Матюшин тихо сказал:

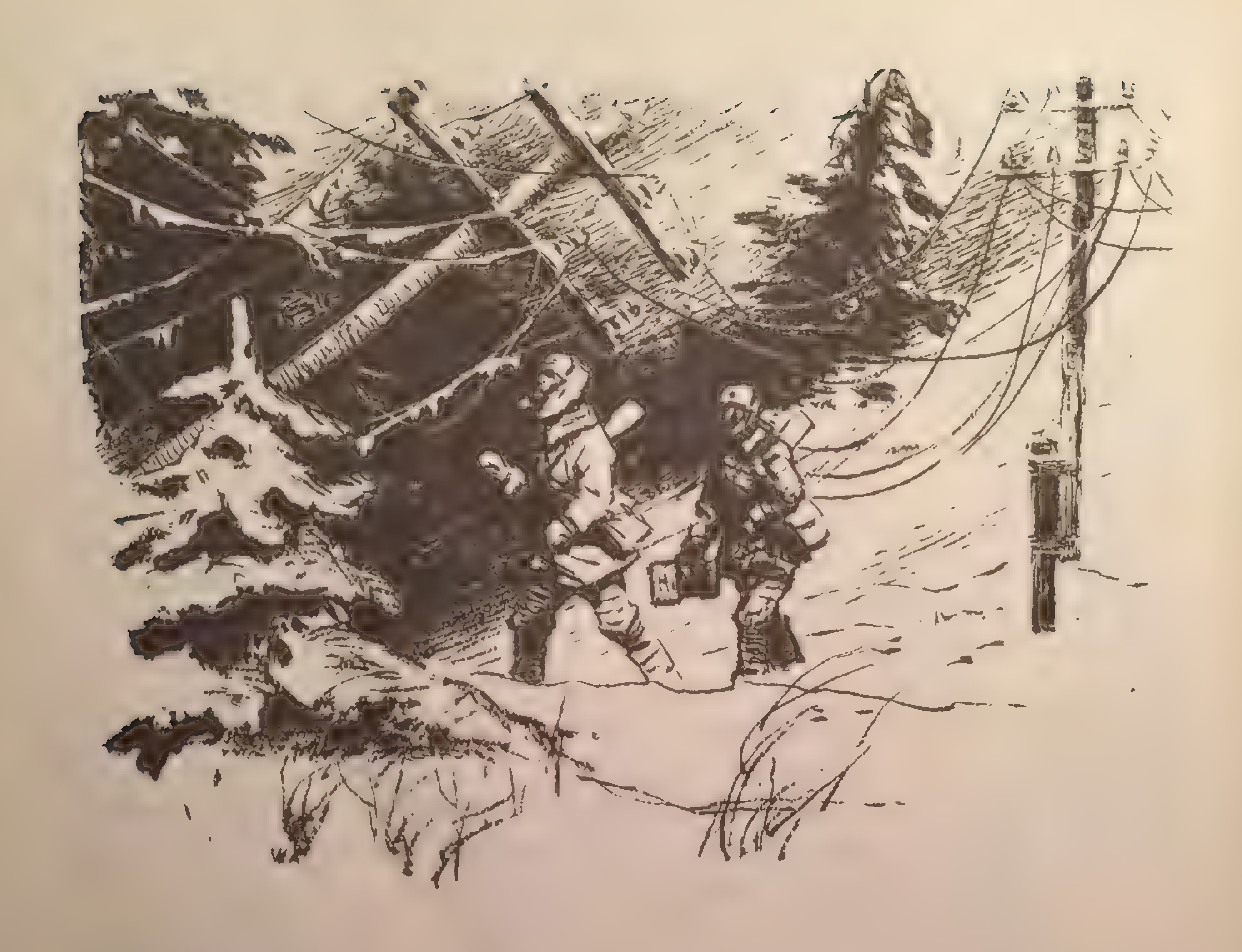
— По-моему, Крепыш выживет.

— Конечно, выживет, — ответил Прохоров.

— Только подумать, — добавил Матюшин, — больной был и пошел, а мог ведь и не идти.

— А ты бы разве не пошел? — спросил Прохоров.





НА ВОЛКОВ

1

У Кирилла Прокофьева была странная манера шутить некстати. Он словно не понимал, когда можно хохотать, а где следует хранить деликатное молчание.

Больше всего доставалось от Кирилла его другу, застенчивому до робости Тарасу Квитко. Тарас не мог отличить ноты «фа» от «соль», но часами готов был крутить патефон, слушать арии и дуэты из опер, особенно из «Наталки-Полтавки», и частенько подпевал себе под нос, страшно фальшивя при этом.

— Ты, товарищ «фасоль», со слоном не в знакомстве? — спросил как-то за обедом Кирилл.

— А что?

— На ухо он тебе не наступил?

Столовая грохнула. Тарас побагровел. С тех пор кличка «фасоль» словно прилипла к нему.

Полтора года назад Тарас и Кирилл вместе прибыли с учебного пункта на заставу, и койки их стояли в казарме рядом.

До призыва на пограничную службу Кирилл работал трактористом на Северном Урале, нередко ему приходилось ночевать в непогоду под открытым небом, а зимой, во время белковья, и в лесу, у костра.

Тарас же был из тех южных степовиков, что не умеют отличить сосну от кедра и трусятся при морозце в пять градусов.

В начале декабря Тарас получил письмо из родной Каменки на Днестре и, сияя от счастья, читал его у разрисованного морозом окна.

Подкравшись на цыпочках, Кирилл глянул через плечо приятеля, лихо притопнул и пропел пронзительным фальцетом:

Я сидела на лужку,
Писала тайности дружку,
Что это за тайности?
Люблю фасоль до крайности!..

Это было чересчур. Тарас попросил разрешения у старшины и перетащил свою койку в противоположный угол.

Кирилл только крякнул.

...Застава находилась в тайге, близ железнодорожного моста через речку Бездна. Небольшой домик окружали высокие холмы, заросшие ольхой, осиной и елью. Меж холмами стыли болота, затянутые обманчивым мхом и ягодниками. Летом сюда захаживали на жировку медведи и слетались куропатки, известные охотницы до ягод.

Несколько раз в сутки мимо проносились пассажирские и товарные поезда. Перестук колес, лязганье буферов да свистки паровозов — вот и все, что нарушало таежную тишину.

Дважды в неделю на заставу приезжала автодрезина, доставляла продукты и почту. Приезжала дрезина и вчера. Тарас получил Олино письмо.

Сейчас Тарас сидел в Ленинской комнате, перелистывал новые журналы. Он недавно вернулся с охраны границы.

С ночи мороз отпустил, утром взялся негаданно теплый ветер, а с полудня началась пурга. Вот и ночь скоро, а она все еще воет, нагоняя тоску.

На мосту прогромыхал поезд, напомнил Тарасу о далекой Каменке.

Скоро мать придет с фермы, с вечерней дойки, братишка с сестрой готовят уроки, отец читает свой любимый «Календарь колхозника». А Оля, наверно, собирается в кино или на танцы. Пишет, что скучает по нем, да разве мало на селе красивых хлопцев!..

На пороге появился дежурный:

— Усманов, Круглов, готовиться в наряд.

Тарасовы соседи поднялись из-за стола.

— Счастливо загорать! — кивнул вслед им «колдовавший» у приемника Кирилл — он упрямо старался поймать Москву.

В приемнике то посвистывало, то потрескивало.

— Не вытягивай ты нервы! — взмолился ефрейтор Пичугин.

И вдруг в приемнике как-то особенно пронзительно взвизгнуло, и хриплый не то мужской, не то женский голос, преодолев помехи, довольно-таки отчетливо сказал:

«...аем программу радиопередач...»

Все приумолкли.

«...дцать часов по московскому времени будет передан концерт по программе, составленной пограничником Тарасом Квитко».

Дальше разобрать что-либо было невозможно. Пограничники изумились:

— Какого Квитко? Уж не нашего ли?

— Вот тебе и «фасоль»!..

Неожиданно в комнату вошел начальник заставы старший лейтенант Кожин. Он был чем-то озабочен. Солдаты встали.

— Вот какое дело, товарищи, — негромко сказал Кожин. — Звонили из районной конторы связи: между восемьсот тридцать пятым и восемьсот сорок седьмым километром прервана телеграфная связь. Гололед. Контора просит помочь им найти обрыв на линии.

Тарас покосился на окно, за которым мело и мело.

— Нужны два человека, — продолжал Кожин. Он посмотрел на Кирилла. — Товарищ Прокофьев, вы как?..

— Когда прикажете выходить? — ответил Кирилл.

— Немедля... Еще кто? — Начальник оглядел пограничников. — Вы, товарищ Квитко, отдохнули?

Начальник не знал о ссоре друзей.

— Отдохнул, — зачем-то вдруг соврал Тарас, хотя, несмотря на плотный ужин, все еще не мог отогреться.

— А как же твой концерт? — проворчал Кирилл, натягивая ватные брюки.

Тарас не ответил.

Километрах в двух за мостом телеграфная линия сворачивала от железной дороги в сторону. Поднимаясь с холма на холм, она тянулась сквозь тайгу на северо-восток по направлению к Верхне-Тайгинску.

Свернув вслед за столбами от железной дороги, Кирилл и Тарас пошли просекой. За плечами у них были карабины и необходимый для ремонта инструмент.

В тайге ветер ослабел, и идти стало легче. Но легкая дорога продолжалась каких-нибудь два километра, не больше, а потом начались такие крутые спуски и подъемы, что пришлось положить лыжи на плечи и, увязая в снегу чуть ли не по пояс, карабкаться на четвереньках.

Время от времени Кирилл — он шел первым — включал висевший на поясе электрический фонарик и освещал провода. «Поскорее бы найти обрыв, исправить повреждение — и обратно. Может, удастся попасть на тарасовский концерт».

Тарас едва поспевал за Кириллом. Он уже не думал о радиоконцерте — вконец устал.

Нечаянно споткнувшись о скрытый снегом пенек, Тарас упал, стукнув лыжами о ствол ольхи. Скопившиеся на ветвях шапки снега свалились на него, снег забил ему рот, нос, глаза. Выбравшись из-под сугроба, Тарас не сразу разглядел Прокофьева.

Кирилл подошел к нему, ни слова не говоря, взял у него инструмент, откопал лыжи, взвалил все себе на плечи и опять упрямо зашагал вперед.

— Я сам понесу! — запротестовал Тарас.

Кирилл даже не оглянулся.

Радиоконцерт по программе, составленной Тарасом Квитко, начался ровно в одиннадцать часов вечера, однако слушали его всего два человека — повар да дежурный. Остальные пограничники — кто был в наряде на границе, кто спал, кто готовился идти на смену товарищам.

Оказалось, что первым номером Тарас заказал арию Наталки. Девичий голос пел о счастье, о любви, а в окна билась пурга...

Минуло семь часов, как Квитко и Прокофьев ушли в тайгу. Кожина вызвали к телефону. Заведующий районной конторой связи благодарил за помощь: связь с Верхне-Тайгинском восстановлена.

— Когда восстановлена связь? — переспросил Кожин. — В двадцать один десять?..

«В двадцать один десять, а сейчас четверть первого ночи!.. Кого же послать на розыски?..»

Кожин не успел принять решение: новый телефонный звонок, на этот раз из комендатуры, заставил его объявить на заставе боевую тревогу, отдать команду:

— В ружье!

2

Пурга, та самая пурга, что помогла Ремиге и Лискуну незаметно перейти через границу, наступления которой они ждали двое суток, теперь спутала все карты. Заметая следы, она в то же время не давала правильно сориентироваться на местности. В тайге выло, стонало, гудело. Ничего не видно было вокруг. Антон Ремига брел следом за Герасимом Лискуном, боясь отстать от него, всецело полагаясь на его опыт, на его чутье: ведь Герасим — уроженец здешних мест и не раз говаривал, что чувствует себя в тайге как дома. Правда, и Ремига больше месяца тренировался в переходах по заснеженным лесам и болотам, но ныне вся его надежда на успех состояла именно в знании местности.

И вот этот-то знаток, Герасим Лискун, так чудовищно ошибся: они наткнулись на железнодорожную насыпь, через которую перебрались два с половиной часа назад.

— Может, это не та? — с надеждой прошептал Ремига.

— Другой здесь нет, — ответил Лискун.

Ремига вспомнил карту: да, другая, ближайшая магистраль проходит километрах в ста к северу. Значит, вместо того чтобы забрать возможно дальше к северо-востоку, они сделали петлю и свернули обратно на юг. Ремигу обуял такой страх, что он не мог сдвинуться с места. Теперь все погибло! Если пограничники напали на их след до тех пор, пока его не замело снегом, то они наверняка уже где-то совсем близко.

Разведывательная школа научила Ремигу минировать мосты, поджигать здания, подслушивать телефонные разговоры, работать на портативной радиостанции, фотографировать, шифровать донесения; он знакомился с новинками советской литературы, разучивал советские песни, ежедневно внимательно читал советские газеты, слушал московские радиопередачи.

Целый год упорного, настойчивого труда, жизнь в затворничестве — и все зря, понапрасну, без толку! И виной тому Лискун, эта самонадеянная тупица!..

— Пошли!

Лискун потряс Ремигу за плечо:

— Оглохли? Ждете, чтобы сцапали?

Они повернули обратно, в глубь тайги. Тяжесть тюка, висевшего за спиной, словно бы утроилась. Пурга внезапно прекратилась. Было отчетливо слышно, как скрипит снег под лыжами, как потрескивает приминаемый валежник. И Ремига, всегда хваставшийся своим самообладанием, обмяк. Воля покинула его, остался только страх — дикий, ни с чем не сравнимый страх. На кой черт он, Антон Ремига, согласился отправиться в это проклятое путешествие? Он знал, что с его желаниями не посчитались бы, но не мог не проклинать того часа, когда поставил свою подпись под обязательством, которое с него и с Лискуна взял их шеф, полковник Бентон. Для Бентона не существовало Антона Ремиги, мечтающего о своей богатой ферме, о молодой жене. Для Бентона он был лишь тайный агент номер 213 — исполнительный, опытный, вышколенный агент, который должен проникнуть в Верхне-Тайгинск.

Сейчас Бентон находится за тысячи верст от этой окаянной тайги и понятия не имеет, каково Ремиге и Лискуну. Узнай Бентон, что они заблудились, он не пожалел бы их, а только обругал болванами и озлился бы, что они заваливают важное задание. Ему даже неведомо, что они не могут воспользоваться компасом, так как компас здесь врет, — вероятно, где-то поблизости залежи железной руды.

Ремига подумал было незаметно отстать и перебраться обратно через границу, но тотчас отбросил эту мысль: увы, он не мог сделать без Лискуна́ ни шагу.

За спиной прогрохотал поезд. Раздался пронзительный свисток. «Полустанок?.. Мост?..»

Свисток словно подстегнул их. Они пошли так быстро, как только могли. Мороз начал крепчать, появилась луна, в тайге немного посветлело, и Ремига довольно отчетливо видел теперь широкую спину Лискуна с тюком, в котором были продукты, радиопередатчик и прочее снаряжение.

— Телеграфная линия, — оглянувшись, прошептал Лискун.

Они перешли просеку, вдоль которой с холма на холм шагали столбы.

Идти близ просеки было рискованно, и Лискун опять углубился в чащобу, заметая за собой лыжню еловой веткой.

Спустившись по крутому склону, они очутились в глубокой лощине.

— Речка Бездна, — прошептал Лискун.

Он первым ступил на занесенный снегом лед, но не сделал и двадцати шагов, как услыхал треск и почувствовал, что проваливается. Он едва сдержался, чтобы не закричать, инстинктивно растопырил руки,

ища опоры. Однако опираться не понадобилось: речка оказалась неглубокой, вода доходила всего до пояса.

Выбравшись на берег, Лискун начал поспешно разуваться. Пока он стаскивал подбитые мехом сапоги, ватные брюки успели так затвердеть, будто были из жести.

Огонь, только огонь мог спасти его! Повернувшись к онемевшему от испуга Ремиге, Лискун сказал, стуча зубами:

— Разведите костер!

— Вы... Нас обнаружат, — обомлел Ремига.

Лискун разорвал тюк, достал сухие носки, с трудом сгибая пальцы, натянул носки на ноги. Запасных брюк и сапог не было. Без огня он погибнет. Только огонь может спасти его...

Лискун прохрипел:

— Вам говорят...

Ветер дул в лощине с ровной настойчивостью, пронизывал. Лискун поглядел на подбитые мехом сапоги Ремиги:

— Боитесь костра — отдайте мне сапоги... На время.

Ремига молчал.

— Да что же вы, не понимаете? Без меня пропадете...

Лискуна трясло все сильнее и сильнее, и он не ощущал уже ног.

Нет, Ремига добровольно не отдаст сапог. Сейчас Лискун — обуза, от которой Ремига постарается поскорее избавиться. Наверно, Ремига уже придумал, как это сделать. Не зря же он служил в гестапо, комендантствовал в концлагере для советских военнопленных, где Лискун был его помощником...

Отдать сапоги?.. Ремига только зло усмехнулся. Раздумывать некогда! Теперь осталось одно — бежать обратно через границу. И зачем он, Ремига, не сделал этого час назад? Ведь думал же, идиот, об этом, думал...

Ремига скинул с плеч тюк, распорол ножом мешковину, схватил несколько плиток шоколада, пачку галет, запасную флягу с коньяком, рассовал по карманам.

Лискун все понял. «Нет, не уйдешь!..» Он сунул руку в карман, намереваясь вытащить пистолет, и почувствовал, что пальцы уже не сгибаются, совсем не сгибаются.

3

Бывают же такие совпадения: негаданная беда подстерегала в эту ночь и Тараса Квитко с Кириллом Прокофьевым.

Авария на линии оказалась куда серьезнее, чем предполагал Кирилл. Он думал, что всего лишь где-нибудь оборвались обледеневшие, провисшие от тяжести провода, а выяснилось, что гололед и ветер не только порвали и перепутали провода, но и повалили два столба, те самые два столба, что стояли по краям пересекающего просеку оврага. Кирилл сразу узнал этот приметный овраг: на дне его моховое болото. Именно здесь пограничники подстрелили прошлым летом лакомившегося брусникой медведя.

Кирилл предупредил Тараса, чтобы тот был поосторожнее, и они полезли по крутизне вниз, держась за провода, как моряки держатся за протянутые вдоль палубы штормовые леера.

На счастье, обрыв обнаружился неподалеку от склона. Они сравнительно быстро распутали провода, нарастили и соединили их:

— Полетели телеграммы! — ухмыльнулся Кирилл.

Тарас промолчал. Он промерз, руки его закоченели.

Пурга утихла, но заметно похолодало. А впереди еще добрых два часа обратного пути...

Установить поваленные телеграфные столбы двоим было явно не под силу. И все же, поразмыслив, Кирилл нашел выход: они срубили четыре осинки, приподняли ими верхушки столбов и подсунули под них рогатки — только бы провода не лежали на снегу.

— Завтра рабочие устроят все, как надо, — сказал Кирилл, когда они возвращались с северного склона оврага.

Сказал и вдруг, как-то по-детски тихонько ахнув, провалился по пояс.

Тарас не сразу сообразил, что Прокофьев угодил в скрытую сугробом трясину, и, сбросив с плеч инструмент, кинулся к товарищу.

— Не подходи! — остановил Кирилл.

Тогда Тарас схватил лопату и начал разгребать сугроб.

— Сдурел, «фасоль»?! — почти зло крикнул Кирилл. — Подай лопату мне и тяни...

Ухватившись за конец лопаты, он спокойно добавил:

— Помаленьку...

Под ногами у перепуганного Тараса все колебалось, он чувствовал, что сам, того гляди, провалится в трясину, но все же, весь напружившись, вытянул на снег товарища.

Валенки у Кирилла насквозь промокли; он торопясь снял их, размотал портянки, стянул с ног шерстяные носки.

Луна выглянула из-за зубчатой стены леса, и в свете ее Тарас увидел на лице Кирилла показавшуюся странной улыбку.

— Спички мы забыли, — порывшись в карманах, сказал Кирилл. Что же делать?..

Тарас скинул с ног валенки, расстегнув закостеневшими пальцами полушубок, стащил с шеи шарф (Олин подарок!), разорвал надвое.

— Вот тебе портянки!

Кирилл шарфом обмотал ноги, всунул их в свои дымящиеся на морозе валенки.

— На ходу обсохну, — приплясывая, успокоил Кирилл. — Не отставай...

Они выбрались на просеку, на свои недавние следы. Там, где ветер успел намести новые гряды снега, Кирилл — он опять был первым — прорывал, протаптывал чуть ли не траншеи. Они бежали, не сбавляя темпа: только движение, быстрое, безостановочное движение могло влить в них тепло.

Временами Тарасу казалось, что они никогда не выберутся из тайги, никогда не добегут до заставы. Думы о Каменке, о родных, об Ольге, неотступно заполнявшие голову в первые часы похода, совсем почти оставили его. Дом, семья, Оля — все это стало далеким, почти детским воспоминанием. Он бежал, тяжело дыша, ступая след в след Прокофьева. Казалось, что, сделав еще несколько шагов, он упадет и больше уже не встанет... Его обиды на Прокофьева, на Кирилла... Какими же мелкими, никчемными представлялись они ему теперь! Какой замечательный друг Кирилл...

А ветер все дул вдоль просеки, пронизывал. Гудели телеграфные провода, по которым снова неслись телеграммы. Тарасу так хотелось, чтобы Кирилл сейчас же, немедля, узнал, что думает о нем он, Тарас. А Кирилл даже не оглянется, бежит, не сбавляя темпа... Чего он вдруг остановился?..

Кирилл предостерегающе поднял руку, на мгновение включил электрический фонарик, осветил снег. На снегу были едва заметны следы лыж.

4

Дозор соседней заставы, проверявший границу, обнаружил несколько часов назад, что ее пересек лыжный след. Это мог быть только след врага, под покровом ночи и пурги перебравшегося через границу.

Для поиска нарушителей с заставы была выслана группа пограничников, однако поиски оказались тщетными; пурга усилилась и окончатель-

но замела следы. Невозможно было даже определить, в какую именно сторону шли нарушители: то ли от границы в наш тыл, то ли наоборот — петля какая-то! Тогда была объявлена тревога и на заставе старшего лейтенанта Кожина.

Несколько десятков пограничников и сотня дружинников из близлежащих колхозов двумя полудугами охватили большой участок тайги, все туже и туже сжимая кольцо: где-то там, внутри него, — враг.

Разве мог предполагать Кожин, что нарушители границы сбились с пути, подались не к северу, а очутились чуть ли не рядом с заставой?..

Когда же вскоре по окончании пурги был обнаружен свежий, отчетливый след, Кожин не сразу поверил, что это те самые нарушители, которых так долго искали и пограничники и дружинники. Он опасался, не проскочили ли через границу какие-нибудь новые лазутчики...

На просеке, там, где сквозь тайгу с холма на холм шагали телеграфные столбы, Кожин сразу узнал лыжни Прокофьева и Квитко. Живы, здоровы! Умаялись, а не прозевали чужую лыжню. Далеко ли они?..

Словно в ответ на размышления Кожина, с речки Бездны эхо принесло два выстрела.

5

Скатившись по крутому склону, Кирилл и Тарас не сразу поняли, что за шум за прибрежными кустами. Похоже, там кто-то яростно борется.

И вдруг все стихло.

Держа наготове карабины, Кирилл и Тарас начали сторожко продираться сквозь кусты. Раздвинули ветви — и опешили: на утоптанном, примятом снегу замертво лежал рослый мужчина; второй, поменьше ростом (почему-то в кальсонах и носках!), стаскивал с ноги мертвеца меховой сапог.

Услыхав пограничников, он поднял на них помутневшие от злобы и страха глаза. Шапка слэтела с его головы, ветер шевелил не то седые, не то заиндевевшие спутанные волосы. На губах и на подбородке у него краснела заледеневшая кровь.

Только тут, сделав еще шага два, Кирилл и Тарас разглядели, что шея лежавшего человека перерезана. В свете луны на снегу рядом с его головой темно краснело почти черное пятно.

Кирилл взвел карабин и дважды выстрелил в воздух.

...Скорый поезд «Москва—Пекин» подъезжал к мосту через Бездну, слегка замедлив ход. Приходило мглистое утро, то самое мглистое утро, какое всегда бывает, когда оттепель внезапно сменяется крепким морозом. Успевшие подняться от сна пассажиры разглядели сквозь разрисованные морозом окна бредущую через силу небольшую процессию: заиндевевших лыжников с карабинами за плечами. Первым шел высокий лыжник; на спине его — явно обессилевший человек. А те лыжники, что замыкали процессию, тащили на волокуше из еловых ветвей какой-то, по-видимому, тяжелый груз; что именно, разобрать было трудно.

— Охотники, — сказал кто-то из пассажиров.

— На волков, наверно, ходили, — ответил другой.





«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

1

За многие десятки километров видны из степи хребты юго-восточного Адалая. Они возникают над горизонтом синевато-дымчатой, словно висящей в воздухе бесконечной полосой. В ясную погоду над этой полосой на фоне глубокого среднеазиатского неба вырисовываются легкие очертания снежных вершин. В чистом, прозрачном воздухе они кажутся совсем близкими, однако не день и не два — неделя, если не больше, потребуется для того, чтобы попасть в центр Адалая.

Гряда за грядой, один выше другого, вымахивают хребты. Перевалишь через первый хребет — и на многие версты перед тобой простирается высокогорная степь; преодолеешь второй, поднимешься как бы на ступень выше — опять степь. И все реже и реже встречаются на пути селения, все меньше и меньше отар овец на пастбищах.

А на юго-востоке — новые хребты громоздятся над хребтами. Все заснеженнее их вершины, все круче их скалистые склоны, все глубже долины, переходящие в ущелья. В долины сползают с вершин мощные ледники, из-под снежных обвалов вырываются студеные бурные потоки.

На смену осокоревым, ореховым и яблоневым лесам, растущим по склонам, давно пришли леса горной серебристой ели, но и ель начинает уступать свое место кедру-стланцу и древовидному можжевельнику — арче.

И нет уж вокруг ни жилья человека, ни животных, которых он приручил. В лесах хозяйничают медведи, рыси и красные волки. Без устали выбивают дробь дятлы, верещат щеглы и кедровки. На сочных альпийских лугах, расцвеченных красными маками, нежно-голубыми незабудками, лиловыми фиалками и солнечно-желтыми «барашками», пасутся косули, маралы и горные козлы. Заходит на луга и остромордый гималайский медведь — вволю пожировать на горной гречихе и полакомиться сурками, которых тут великое множество.

Выше у кромки вечных снегов, среди каменистых россыпей, где робко зеленеет редкая трава, в самых труднопроходимых местах держатся горные бараны — архары. Могучие, спиралью изогнутые возле ушей рога увенчивают их царственно гордые головы. В пещерах и расщелинах — проход в них как бы прикрыт корявой приземистой арчой — архары выводят ягнят.

По дну узких мрачных ущелий, словно играючи, перекатывая огромные камни, с неумолчным ревом мчатся пенистые потоки. В ущельях гнездятся похожие на крупных дроздов остроклювые синие птицы: в лучах солнца их перья отливают сине-фиолетовыми тонами. Спозаранку громким пением будят они горы.

Вторя синей птице, кидаясь в воздух с отвесных скал, пронзительно завизжат стрижи; забегает по мокрому щебню, затрясет длинным хвостом сероватая, с желтым брюшком трясогузка. Вечно бодрая оляпка вспорхнет вдруг с камня, неустрашимо нырнет в самый водоворот, секунд через десять, а то и через все двадцать вынырнет ниже по течению с рыбешкой в клюве, взмахнет крылышками и, пронзив в стремительном полете широкую струю водопада, скроется за ним — там у нее гнездо.

Месяцами не увидишь на высях Адалая человека. Разве случаем забредет сюда охотник или группа смельчаков-альпинистов. Лишь в последние годы все чаще и чаще то тут, то там, в самом хаосе гор, разбивают свой лагерь геологи, народ любопытный и неутомимый. Выскочив

из-за скалы, остановится как вкопанный архар, нервно подрагивая бархатистыми ноздрями, тревожно втянет воздух. Воздух попахивает дымком от костра.

Так бывает летом. Зимой же в горах Адалая дико и пустынно. Все вокруг похоронено под снегами. Вниз, в долины, спустились звери. Самый отважный охотник не рискнет заглянуть сюда, да и нечего ему здесь делать. Нечего делать здесь зимой и геологам. Одни пограничники живут тут круглый год, потому что по гребню Большого хребта проходит государственная граница.

На северном склоне хребта, там, где начинается спуск в долину, находится одна из пограничных застав — застава Каменная.

В конце сентября начальник заставы старший лейтенант Ерохин вызвал сержанта Федора Потапова, пограничников первого года службы Клима Кузнецова и Закира Османова и приказал им отправиться на смену наряда к дальнему горному проходу, известному под названием Большая зарубка.

— Вам смена прибудет через пятнадцать суток, — сказал начальник.

Получив боеприпасы и на всякий случай месячную норму продуктов, трое пограничников навьючили каурую кобылу Зорьку.

— Как, Петро, соли с луком положил достаточно? — подтягивая подпругу, спросил Потапов стоящего в дверях повара.

— С избытком! Известен твой вкус!..

Через полутора суток на заставу возвратился наряд, который сменила группа сержанта Потапова, а на девятый день в горах разыгралась метель. Жители расположенного в долине селения рассказывали потом, что такой ранней, сильной метели не упомнит даже столетний Уймон: она бушевала пять суток кряду.

Зима установилась на три недели раньше обычного.

Пограничники допоздна откапывали здание заставы: снегу навалило по крышу. Только тут новички поняли, почему в горных селениях двери отворяются внутрь дома: иначе бы и не выйти! На конюшню и к складу пришлось подкапывать в сугробах траншеи.

Трое пограничников, посланных лейтенантом в назначенный срок на смену группе Потапова, возвратились с полдороги. Они сообщили, что путь прегражден снежной стеной. Ерохин направил к Большой зарубке новую партию пограничников с альпинистским снаряжением. Четверо суток пробивались бойцы сквозь снег и наконец выбрались к узкой тропе, на которой ветер не оставил ни одной снежинки. Все повеселели, однако

радость была преждевременной: шагов через двести пришлось остановиться — висячий мост над водопадом обрушился, будто моста и не было.

Так ни с чем вернулась и вторая партия.

«Что с товарищами? Живы ли они? — тревожились на заставе. — Раньше весны новый мост не построить».

Минули октябрь, ноябрь и декабрь. Из города к Большой зарубке не раз летали вызванные по радио самолеты, но облака и туманы скрывали хребет, и обнаружить группу Потапова так и не удалось.

3

С запада и востока каменистую площадку сжимали отвесные утесы, к югу она обрывалась крутым склоном, на севере переходила в узкое ущелье, которое и звалось Большой зарубкой. Издали казалось, что в этом месте хребет надрублен гигантским великаньим мечом.

Площадка метров в десять в длину и около трех в ширину не была обозначена ни на одной карте, почему и не имела официального наименования. За малые размеры и частые свирепые ветры, бушевавшие здесь, пограничники прозвали ее «Пятачок-ветродуй». Стоять тут в непогоду было тяжело, но зато именно отсюда на значительное расстояние просматривались подступы по южному склону пограничного хребта к Большой зарубке, одной из немногих перевальных точек.

Начинаясь от «Ветродуя», ущелье постепенно расширялось, рассекало толщу хребта и через полкилометра, резко свернув к востоку, заканчивалось на северной его стороне второй площадкой, с топографической отметкой «3538». Обычно здесь происходила смена нарядов, охраняющих Большую зарубку, и заставские остряки окрестили эту вторую площадку «Здравствуй и прощай».

Высокая отвесная скала ограждала площадку от холодных северо-восточных ветров. С другой стороны ее ограничивала пропасть. Узенькая, словно вырубленная в скалах тропа круто спускалась от «Здравствуй и прощай», огибала пропасть и выходила на огромный ледник. За ледником тропа продолжала спускаться мимо скал, поросших кедрами-стланцами, к водопаду Изумрудный и неожиданно обрывалась у отвесной обледенелой стены. Именно тут снежная лавина разрушила мост — единственный путь в долину, к заставе Каменная.

На заставе не без оснований полагали, что, по всей вероятности, группа сержанта Потапова погибла если не от обвала, так с голоду: про-

дуктов они взяли с собой всего на месяц, а минуло уже почти четыре.

Но Федор Потапов, Клим Кузнецов и Закир Османов были живы и продолжали охранять границу.

Как-то в один из январских дней на «Пятачке-ветродуе», укрывшись от пронизывающего ветра за рыжим замшелым камнем, стоял Клим Кузнецов. Засунув кисти рук поглубже в рукава полушубка и уткнув нос в воротник, он с тупым безразличием смотрел на уходящие одна за другой к горизонту горные цепи.

Прогрохотала лавина: где-то на каменном карнизе скопилось чересчур много снега. Орудийной канонадой прогремело эхо, замерло, и опять наступило гнетущее безмолвие.

Воротник полушубка так заиндевел, что пришлось вытащить из тепла руку и сбить колючий нарост из ледышек — и без того тяжело дышать. Нет, никогда не привыкнуть Климу к разреженному горному воздуху! Хочется вздохнуть полной грудью, а нельзя — обморозишь легкие... И до чего же мучительно, до боли сосет в желудке! Когда-то, бездну лет тому назад, Клим читал в приключенческих романах, что голодным людям мерещатся окорока, колбасы, яичницы из десятков яиц, что будто бы им чудятся запахи бульонов, отбивных котлет, наваристых борщей, а он, Клим, мечтал сейчас всего лишь о кусочке ржаного хлеба, самого обыкновенного черного хлеба...

Солнце скатилось куда-то за Большой хребет. Облака над чужими горами стали оранжевыми. Все вокруг было холодным, равнодушным.

Почему, почему он не ценил все то, что окружало его дома, в родном Ярославле, на Волге? Почему он не ценил заботу и ласку матери? (Отец погиб на войне, когда Клим был еще совсем маленьким.) Почему он часто не слушался ее, обижал, заставлял волноваться и тревожиться, ворчал, когда мать просила его сбегать за хлебом, — ему, видите ли, именно в это самое время нужно было готовить уроки! И мама шла за хлебом сама, хотя и без того устала, целую смену простояв на фабрике у станка...

Почему он, Клим, не ценил заботу школы, которую окончил весной прошлого года, и не стыдно ли ему было заявить товарищам, решившим пойти после десятого класса на завод, что они могут быть кем им угодно, хоть слесарями, хоть сапожниками, а его удел — искусство?

Искусство... Как позорно провалился он на вступительных экзаменах в художественный институт: по перспективе — двойка, по рисунку — три...

Не поэтому ли буквально в первые же дни пребывания на заставе обнаружилось, что он во многом не приспособлен к жизни? Он не умел

пилить дрова — сворачивал пилу на сторону, чистил одну картофелину, когда другие успевали вычистить по пять, понятия не имел, как развести костер, чтобы он не дымил, и как сварить кашу, чтобы она не подгорела.

И до чего же он, считавший себя чуть ли не самым развитым и самым грамотным, оконфузился, когда сержант Потапов разложил на столе какие-то вещички, прикрыл их газетой и, пригласив солдат своего отделения, на мгновение поднял газету и опять положил ее, сказав: «А ну, пусть каждый напишет, что тут лежит. Пять минут на размышление».

Клим написал: «Ножик, часы, карандаши, патроны, папиросы, бритва». Больше ничего не мог вспомнить. И оказалось, что в этой игре на наблюдательность он занял последнее место, не заметив, что на столе лежали еще протирка, пятак, расческа и не просто карандаши, а четыре карандаша, в том числе три черных и один красный, и не просто патроны, а пять патронов. Кроме того, он еще спутал компас с часами.

А как трудно ему было с непривычки вставать с восходом солнца, добираться за несколько километров на перевал и в дождь и ветер несколько часов подряд стоять на посту с автоматом в руках!

Клим понимал: не на кого и не на что ему жаловаться — ведь все молодые пограничники находились в равных, в одинаковых с ним условиях. Об этом даже не напишешь домой! Однако все первые трудности и неудачи померкли в сравнении с тем, что пришлось пережить за три с половиной месяца здесь, в снежном плену на площадке «Здравствуй и прощай»...

Солнце давно скрылось за хребтом, а облака все еще горели оранжевыми и красными огнями. И, чем сильнее сгущались синие тени в долине, тем ярче становился диск луны, медленно проплывавший над обледенелыми, заснеженными горами. Клим впал в какое-то странное забытье. Он не закрывал глаз, но и не видел ни гор, ни густых зубчатых теней в долине, ни медно-красной луны.

— Кузнецов! — раздался словно откуда-то издалека тихий голос. На плечо легла чья-то рука. Клим через силу оглянулся — рядом стоял Потапов.

— Подползи к тебе, стукни по голове — и готов! — сурово сказал сержант.

Голос его стал громким. Клим окончательно очнулся от оцепенения.

— В валенках вы, не слышал я.

А про себя подумал: «Ну кто, кроме нас, может сейчас здесь быть? Кто сюда заберется?..»

— Иди ужинать, — подобрел сержант. — Османов суп с мясом сварил.

Клим широко раскрыл глаза:

— Барана убили?

— Иди, иди быстренько...

Клим мечтал о кусочке хлеба, а тут... Он так явственно представил дымящийся суп, кусок баранины, что попытался было побежать. Но тотчас застучало в висках, затошнило, закружилась голова. С трудом поправив съехавший с плеча автомат, Клим, пошатываясь, побрел по тропе.

На площадке «Здравствуй и прощай» пограничники соорудили из палатки небольшой чум, обложив его снаружи ветками арчи, кедра-стланца и кирпичами из снега. Триста метров, всего каких-то триста метров отделяли Клима от этого теплого чума, мягкой хвойной лежанки и словно с неба свалившегося ужина!

Он машинально переставлял ноги, не глядя, инстинктивно обходил знакомые камни и впадины, то и дело останавливался, чтобы собраться с силами. Никогда еще он так не уставал, как сегодня, никогда не чувствовал такой вялости во всем теле, никогда так не дрожали колени...

Четвертый месяц Клим Кузнецов, Закир Османов и Федор Потапов находились у Большой зарубки, отрезанные от заставы и от всего мира. Когда на пятнадцатые сутки не пришла обещанная начальником смена и за первой метелью нагрянула вторая, зачастили бураны и снегу насыпало столько, сколько не выпадало за всю прошлую зиму, Потапов понял, что они надолго застряли на «Пятачке», и распределил остатки продуктов еще на двадцать дней. Не подозревавшие беды Клим Кузнецов и Закир Османов со дня на день ожидали смены.

Выбравшись по леднику к водопаду, Потапов убедился, что догадка его была правильной, и, не утаивая от товарищей правды, сказал им, что придется ожидать у Большой зарубки весны. Он надеялся, что, может быть, старший лейтенант Ерохин как-нибудь вызволит их раньше, но намеренно сказал о весне, чтобы Кузнецов и Османов приготовились к самому худшему.

Прошел месяц. Несколько раз к Большой зарубке прилетал самолет; пограничники отчетливо слышали гул мотора, однако плотные облака, постоянно клубящиеся над хребтом, скрывали от летчика крохотный лагерь у площадки «Здравствуй и прощай».

В начале второго месяца оступилась на леднике, сорвалась в про-

пасть и насмерть разбилась Зорька, на которой они привозили в лагерь арчу для очага. Сержант пожалел, что не прикончил лошадь раньше сам: конины хватило бы надолго.

Угроза холода вынудила Потапова изменить утвержденный начальником заставы распорядок: каждый день кто-нибудь из троих отправлялся на сплетенных из кедровых веток снегоступах через ледник на охоту. Но в эту пору сюда не заходили ни архары, ни горные козлы. Клим подстрелил как-то заплутавшего и отощавшего барсука, но до чего невкусное и жесткое у барсука мясо! Во второй раз ему посчастливилось подбить каменную куропатку, а Османов убил марала: видно, олень тоже не смог спуститься в долину из-за обвала. Оленьего мяса хватило на целый месяц. В пищу пошли даже кожа и толченые кости: Потапов варил из них бульон. И все-таки, как ни экономил сержант, оленина кончилась, и тогда пришлось есть такую пищу, о которой Клим сроду и не слыхал. Нарубив кедровых веток, Потапов срезал ножом верхний слой коры, осторожно соскоблил внутренний слой и выварил его в нескольких водах.

— Чтобы смолой не пахло, — подмигнул он Климу.

— Неужели дерево будем есть?

Как ни голоден был Клим, он не мог себе представить, что можно питаться корой.

— Чудо ты! — усмехнулся сержант. — Не дерево, а лепешки!

Когда кора хорошенько выварилась, он велел просушить ее на огне.

— Гляди, чтоб не подгорела. Хрупкой станет — снимай. Придет Закир, растолчете между камнями. Вернусь — блинами вас угощу. (На ночь Потапов всегда уходил к «Пятачку-ветродую» сам.)

Чуть ли не до зари Клим и Османов толкли в порошок съежившуюся от жара кору.

— Ящериц ел, траву ел, дерево никогда не ел, — бормотал Закир.

Наутро сержант замешал на теплой воде светло-коричневую кедровую муку, замесил и раскатал на плоском камне тесто. Потом нашлепал из катышков тонкие лепешки и поджарил их на медленном огне.

— Жаль, маслица со сметанкой нет, — причмокнул он губами, протягивая Климу первый «блин».

Клим с жадностью схватил лепешку, откусил половину и чуть было тотчас же не выплюнул — такая горечь опалила рот.

А Потапов жевал свою лепешку с таким аппетитом, словно это и впрямь был пышный, ноздреватый блин из первосортной пшеничной муки.

Морщась от горечи, Клим съел две лепешки. Острое ощущение го-

лода притупилось, и он потянулся было за третьей, но Потапов остановил его:

— Хватит, милок! Закиру оставь...

И не только лепешки из кедровой коры пришлось есть в кажущиеся бесконечными долгие зимние месяцы. Потапов научил товарищей, как готовить из прожаренных кедровых шишек запеканку и даже студень, сваренный из оленьего мха. И все он делал не торопясь, с шутками-прибаутками, будто всю жизнь только этим и занимался.

— Сегодня, братки, как-нибудь, а завтра с блинами, — улыбался он то Закиру, то Климу — всем вместе им бывать не приходилось: кто-то из них всегда был на границе у Большой зарубки.

3

С час, если не больше, добирался Клим от «Пятачка-ветродуя» до площадки «Здравствуй и прощай». Хорошо еще, что днем не было очередного снегопада.

Откинув полог, прикрывавший вход в чум, он прополз внутрь. Пахнуло теплом, в нос ударил перемешанный с дымом запах мяса. Только сейчас окончательно поверилось, что сержант сказал правду.

Закир сидел у окруженного земляным валиком пылающего очага и, обхватив руками колени, тихонько раскачивался. Над очагом висел котелок, в котором бурлил суп, распространяя дразнящий, самый лучший, самый желанный в мире аромат.

Сбросив движением плеча автомат, скинув шапку-ушанку, торопливо стянув меховые рукавицы, Клим пробормотал словно в лихорадке:

— Барана убили?

— Отдыхай, дорогой, кушай, пожалуйста! — сказал Закир, помогая товарищу снять полушубок.

В отблесках колеблющегося пламени на лице Закира еще резче обозначились обтянутые загорелой, обветренной кожей скулы, впадины на висках и на лбу, ввалившиеся щеки.

— Эх, соли нет!..

Снедаемый нетерпением, обжигая дрожащие пальцы, Клим налил в алюминиевую тарелку супу и, поддев вилкой, извлек из котелка большую кость с куском дымящегося мяса.

— Ну и баран, целый бык!

— Кушай, пожалуйста! — повторил Закир, взял отпотевший автомат товарища, начал обтирать его тряпочкой.

— Вы... вы... — Догадавшись вдруг, Клим бросил мясо обратно в котелок. — Вы достали из ущелья Зорьку? Это же конина!

— Совсем ребенок стал, — спокойно сказал Закир. — Ай, какой ребенок! Зачем кричишь? — Он достал из вещевого мешка спичечную коробочку, открыл ее. — Бери, пожалуйста! — и высыпал на ладонь притихшего Клима щепотку соли.

— У тебя осталась соль?

— Зачем торопиться? Много соли ешь — кровь жидкая станет, совсем как вода. Кушай, пожалуйста! Конина бик якши, хорошо!

И в самом деле, к чему терзаться, что они съедят то, что осталось от Зорьки? Ведь они не убивали ее, она сама разбилась. И как это Федор и Закир умудрились достать ее со дна пропасти?

Пересилив себя, Клим отхлебнул жиденького горячего бульона. Давным-давно не пробовал ничего более вкусного! Он с жадностью опорожнил тарелку, почти не жуя, давясь, проглотил порядочный кусок жилистого, жесткого мяса — немолода уже была работяга Зорька, — с наслаждением обсосал кость. Вовек не испытывал он чувства такой блаженной сытости...

Клим разулся, растянулся на лежанке. Хорошо! Не такая уж плохая штука жизнь! Эх, написать бы когда-нибудь картину «Заслон у Большой зарубки»! Пограничника, стоящего в яркий солнечный день над суровыми, сверкающими горами на «Пятачке-ветродуе». У пограничника вдохновенное, гордое и смелое лицо...

— Автомат почисть, — вернул Клима с небес на землю голос Закира. — Сержант придет, проверять будет, ругать будет.

Пришлось встать, почистить автомат, а заодно уж и пряжку ремня, и пуговицы на гимнастерке, и звездочку на шапке. Потапов все проверит, везде углядит. Долго ли еще они будут жить здесь, в снежном плену? Впереди еще половина января, февраль, март, половина, а может быть, и весь апрель! Закир говорит, что раньше весны новый мост едва ли построят. Наверно, на заставе давно решили, что они погибли. Возможно, так и написали маме, а если и не написали, то что она думает, бедная, не получая от него писем?

Невеселые мысли теснились в голове. Что это за жизнь, если ты, человек, сознательное существо, царь природы, каждый час, каждую минуту только одного и хочешь: есть, есть, есть! А ведь кто-то где-то смеется сейчас; кто-то где-то читает стихи, слушает оперу; кто-то где-то целует любимую... На заставе, наверно, сейчас смотрят какую-нибудь кинокартину...

— В шахматы будешь играть? — спросил Закир.

— Не хочу, — буркнул Клим.

— А как думаешь, кто победил в матче: Смыслов или Ботвинник? — снова спросил Закир. Он был заядлый шахматист и довольно сносно вырезал фигуры из корня арчи.

— Надоел ты мне со своими шахматами! — с досадой поморщился Клим. — Не все ли тебе равно, кто победил, — важно, что чемпионом будет наш, советский гражданин.

— Почему — все равно? — удивился Закир. — Я за Смыслова болею, хочу, чтобы Вася был чемпионом.

Ничего, ровным счетом ничего не знали Клим, Закир и Федор о том, что происходит в большом, огромном мире! Возможно, в Корее снова началась война: американские марионетки грозились пойти в новый поход на север. Возможно, во время великого противостояния Марса ученые выяснили, есть ли на Марсе жизнь. Возможно, Михаил Шолохов закончил уже роман «Они сражались за Родину».

И, наверно, к Октябрьской годовщине пустили Горьковскую гидростанцию и новое Волжское море разлилось чуть ли не до Ярославля. Наверно...

Ничего не было известно здесь, в снежном плену у Большой зарубки... У зимовщиков на полярных станциях есть радио, а они трое живут, как снежные робинзоны, самые настоящие робинзоны...

Высокая скала загораживала чум от ветра, тяга была плохой, и дым от очага ел глаза, першило в горле.

Клим забылся наконец, что-то несвязно бормоча и вскрикивая во сне, и не слышал как Османов ушел сменить Потапова.

Федор разбудил Клима, как обычно, в семь утра. Они вылезли из чума в одних гимнастерках, умылись снегом.

— На зарядку становись! — скомандовал Потапов.

— Не могу я, — отказался Клим.

Какая там еще зарядка! Словно пудовые гири привязаны к рукам и ногам.

— Полегоньку, полегоньку, — настойчиво сказал Федор. — А то совсем раскиснешь...

Вернувшись в чум, они позавтракали остатками вчерашнего ужина, выпили по кружке горячего хвойного отвара из кедровых ветвей. Отвар был горек, как хина, но, как ни противились было поначалу Клим и Закир, Потапов заставлял их ежедневно поглощать по три кружки этого противного пойла.

— Или хотите подхватить цингу? — недобро усмехался Федор. — Хотите, чтобы у вас распухли десны и вывалились зубы? В хвое, братцы мои, витамин «С»...

Хвойный отвар, гимнастика и работа! Потапов был неистощим, каждый день придумывая какое-нибудь новое дело. По восемь часов в сутки каждый из них стоял на часах на «Пятачке-ветродуе». Это было утомительно для них, истощенных, почти всегда голодных, но Федор не считался с усталостью.

— Что толку для организма в том, что мы стоим на одном месте? — говорил он. — Организму нужно движение, без движения мышцы станут хуже тряпок. Тебя устраивает, чтобы ты был мешком, набитым костями? — ощупывал он жидкие бицепсы Клима.

И они работали. Они заготовляли впрок топливо, лазая по скалам, сбрасывали с площадки «Здравствуй и прощай» в пропасть снег, расчищали тропу к леднику, укрепляли камнями откос, вырубали из слежавшегося твердого, как лед, снега кирпичи и выкладывали из них барьер над ущельем.

Котелки и тарелки у них всегда сверкали, каждую неделю стиралось белье и до блеска начищались пуговицы и пряжки ремней.

Пуговицы... Надолго запомнились Климу солдатские пуговицы!

Как-то он колол дрова и потерял пуговицу от гимнастерки.

— Степы-растрепы мы, а не пограничники! — сердито, почти зло бросил Потапов.

Он сразу, едва Клим успел забраться в чум, заметил, что у того не хватает третьей пуговицы сверху. С час, если не больше, копался Клим в снегу, на морозе, пока не нашел ту злосчастную пуговицу.

Хорошо еще, что у него толком не росли пока усы и борода, а только юношеский пушок чернел над верхней губой, а то и ему, как Закиру, пришлось бы через день бриться. Сам Потапов брился каждодневно.

В первые недели Клима раздражали, даже возмущали «выдумки» сержанта. Казалось просто-напросто несправедливым, что Потапов не разрешает им вволю отдохнуть и выспаться. Кто дал ему такое право?

— Больше семи часов спят только старики и лежебоки, — непререкаемо изрекал сержант.

Однако постепенно Клим втянулся в заведенный Потаповым распорядок, привык к нему, и работа, бывшая вначале в тягость, представлявшаяся бессмысленной, воспринимаемая как проявление упрямства и едва ли не самодурства Потапова, стала привычной, даже необходимой — в работе быстрее бежит время. К тому же Клим чувствовал, что и в са-

мом деле мышцы его стали куда крепче, и то, что вчера еще казалось непосильным, выматывающим, сегодня не представляло уже такой трудности.

Если бы не этот проклятый разреженный воздух, если бы не почти постоянное ощущение голода...

А сержанту Потапову мало того, что все они охраняли Большую зарубку и занимались физическим трудом, — ввел ежедневный учебный час. Еще в конце октября он сказал:

— С первого ноября станем заниматься боевой подготовкой.

Поочередно, то с Закиром, то с Климом, он повторял на память основы пограничной службы, изучал оружие и добился того, что оба они с завязанными глазами разбирали и собирали автоматы и пистолет. Проложив в снегу условную линию границы, сержант сам «нарушал» ее различными способами и требовал, чтобы Клим и Закир точно и быстро определяли, когда именно прошел «нарушитель», как он шел, к каким уловкам прибегал, запутывая и маскируя свои следы.

Нарушители... Какие нарушители границы могут быть сейчас здесь, в заваленных снегами горах? Кто сюда пойдет? Зачем?

Клим недоумевал, он просто-напросто не мог понять сержанта Потапова: дети они, что ли, чтобы играть сейчас в нарушителей? Почему бы им не попытаться самим пробраться к заставе? Однажды он так прямо и сказал Потапову.

— Прибудет смена, тогда и уйдем, — нахмурился Потапов.

— Не пройти им, нам сверху легче спуститься, — попытался настаивать Клим.

— Как это — не пройти? Пройдут! Да ты знаешь, о нас не только старший лейтенант Ерохин тревожится, — о нас и в отряде и в округе беспокоятся!

4

В один из вечеров, когда Потапов ушел в заслон к Большой зарубке, Клим и Закир сидели в чуме у очага. Климу было тоскливо, и он тихонько запел:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит —
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

Закир вскочил:

— Перестань!

— Почему это?

— Перестань, говорю! — разгорячился Османов. — Зачем сердцем плачешь? Совсем плохо!

— Круглые сутки буду петь! — вскипел Клим. — Понимаешь? Круглые сутки! — И тотчас подумал: «А ведь Закир прав, и без того тяжело на душе». — Ну ладно, ладно, остынь, — через силу улыбнулся он.

Закир покачал головой:

— Ай-яй, ты барс, настоящий барс. Я думал, с Волги тихий человек приехал. Зачем кричишь? Нехорошо!

Закир замолчал. Клим с любопытством посмотрел на товарища: «О чем он сейчас думает? О доме, о родных?»

Османов был неразговорчив, в его скупых суждениях Клима всегда удивляла какая-то, как ему казалось, не по возрасту холодная рассудительность. Клим мечтал стать художником и не раз рассказывал друзьям о своей мечте, а кем хочет стать Закир?

— О чем, Закир, думаешь?

Османов помешал палкой в очаге.

— Большая дума есть. Совсем большая! — Глаза его заблестели. — Машину хочу сделать, замечательную машину: идет нарушитель, подошел к границе, а наш товарищ начальник старший лейтенант Ерохин все видит. Сидит на заставе и все видит. Скоро думает, куда Закира послать, куда тебя послать. Телевизор такой хочу придумать.

— Как же ты такую машину сейчас сделаешь? — усмехнулся Клим.

— Зачем сейчас? Учиться буду, для другого товарища старшего лейтенанта Ерохина машина будет работать, другой Закир в горы пойдет.

Османов опять замолчал, в огне потрескивали кедровые ветки.

— А потом обязательно еще одну машину сделаю, — мечтательно произнес Закир, — чтобы арык копала машина.

— Велосипед изобретаешь? — снова усмехнулся Клим. — Это же экскаватор!

— Зачем экскаватор? — пожал плечами Закир. — Совсем другую машину хочу сделать. Быстро идет, землю копает, дамбу делает — все сразу. У меня тут эта машина, — постучал он пальцем по голове. — Всю машину вижу. Вот о чем думаю. Народу хорошо будет.

Османов подбросил веток в очаг.

— А ты жалобную песню поешь. Зачем? Ты плачешь, я плачу, какая польза! Про машину думай, про свою картину думай, про хорошую жизнь думай.

Сдвинув черные брови, Закир сосредоточенно смотрел на огонь, а Клим словно впервые увидел товарища и не нашелся, что ответить.

— У тебя какая картина там? — показал вдруг Османов на лоб Клима. — Какую картину хочешь рисовать?

— Я хочу написать Волгу. Широкая-широкая Волга, много-много воды, и чайки над волнами, — в тон Закиру ответил Клим. — А за Волгой леса в синей дымке...

— А пароход будет? — перебил Османов.

— Может быть, будет и пароход...

— Зачем «может быть»? Обязательно пароход нарисуй. Пароход плывет, баржу ведет. Зачем пустая вода?

Клим не успел ответить: одна за другой прогремели автоматные очереди — сигнал тревоги.

5

Два человека с трудом тащили вверх по склону какую-то тяжелую ношу. За плечами у них — туго набитые рюкзаки и короткие горные лыжи.

Подъем становился все круче, и один из мужчин передал свой рюкзак другому и взвалил ношу на спину.

Потапов уже больше часа наблюдал за ними.

Наступили сумерки, и трудно было разглядеть все как следует. Что это за люди? Зачем они лезут к Большой зарубке, к перевальной точке через хребет, по которому идет граница?

Первым на «Пятачок-ветродуй» вскарабкался высокий мужчина. Тропа, протоптанная пограничниками, проходила у самой скалы, ограничивающей площадку с востока, и в полутьме неизвестный не заметил ее. Сторожко оглядевшись, тяжело дыша, он сел, прислонился спиной к камню, за которым притаился Потапов, и, зачерпнув рукавицей пригоршню снега, стал жадно его глотать.

Минут десять спустя на площадку вскарабкался и второй мужчина. Теперь Потапов рассмотрел, что он тащил на спине третьего человека, не то раненого, не то больного. Положив его на снег, повалился рядом...

Выбежав из ущелья на «Пятачок-ветродуй», Клим и Закир увидели на фоне неба силуэт Потапова, наставившего автомат на неизвестных мужчин, поднявших вверх руки.

Ничто не могло сильнее поразить Клима, чем неожиданное появле-

ние у Большой зарубки людей, настолько он был убежден, что зимой сюда не сможет добраться ни один человек.

Мельком глянув на подоспевших товарищей, Потапов включил электрофонарь и навел луч на неизвестных. По одежде их трудно было отличить от охотников. Однако Клим разглядел, что самый высокий из них — европеец. Второй — явно монгольский тип. Лицо третьего, лежавшего без признаков жизни, скрывал шарф.

«Неужели это нарушители границы?»

— Ему плохо... Сердце, — сказал вдруг по-русски высокий мужчина, кивнув на того, что лежал на снегу. — Помогите ему.

— Вы нарушили государственную границу Союза Советских Социалистических Республик. Вы задержаны, — отчеканил Потапов.

— Мы заблудились, — ответил высокий. — И, слава богу, набрели на вас... Пистолет в правом кармане, — добавил он. — Вероятно, это вас интересует...

У нарушителей границы оказалась брезентовая палатка, ее поставили на «Здравствуй и прощай» рядом с чумом, накрыли ветвями и обложили снегом; получилось тесное, но довольно теплое жилище.

Распаковав в присутствии задержанных их рюкзаки, Потапов извлек шерстяные одеяла, немного продовольствия, два автоматических пистолета кольт, компас, хронометр, топографические карты Адалая, призматический бинокль и фотоаппарат.

Высокий мужчина, назвавшийся Николаем Сорокиным, сообщил, что они плутали в горах целую неделю. Больной, Ивар Матиссен, ученик знаменитого исследователя Центральной Азии Свен Гедина, хотел пересечь зимой Адалай, а он, Сорокин, живущий в Кашгаре с 1919 года, согласился сопровождать путешественника. Аджан — проводник, оказавшийся, кстати, никудышным. Он совсем запутался в этом дьявольском лабиринте хребтов и ущелий...

Утром больному стало немного легче, и он что-то прошептал Сорокину.

— Господин Матиссен просит, чтобы вы поскорее доставили нас к вашему офицеру, — перевел Сорокин. — Он должен немедля известить свое консульство: там беспокоятся о его судьбе.

— Господину Матиссену придется обождать, — сухо ответил Потапов...

Так началась жизнь вшестером. Теперь Федор, Закир и Клим вынуждены были не только охранять границу, но и сторожить задержанных.

На вторые сутки, умываясь снегом, Сорокин заметил на скале насеч-

ки, которые каждый день делал Потапов. Сосчитав их, он тихонько присвистнул:

— Выходит, мы у вас в плену, а вы в плену гор? Есть с чего запить. Надеюсь, гражданин Потапов, вы вернете нам флягу с коньяком?

— Коньяк останется для медицинских целей.

— Для медицинских? — усмехнулся Сорокин, щелкнув себя по кадыку. — Вы чудак, сержант! Аджан говорит, что если в горах произошел обвал, то отсюда не выбраться до июня. Как вы полагаете?

— Я полагаю, что вам придется сегодня полазить со мной по скалам: нужно нарубить стланцев для костра.

— Не вижу смысла: днем раньше мы сдохнем или днем позже. Впрочем, пожалуй, вы правы: надо бороться, бороться, черт побери!

— Летит! — крикнул вдруг Клим.

— В самом деле, это аэроплан, — оживился Сорокин.

Где-то совсем низко над горами кружил самолет, но облака скрывали его от людей, и рокот пропеллера постепенно удалился и вскоре вовсе затих.

Матиссену становилось все хуже и хуже: он бредил и не мог поднять голову.

— Потапов, вы здравый человек, вы должны наконец понять, что торчать здесь по меньшей мере бессмысленно, — говорил Сорокин. — Раз путь на север закрыт, то пойдемте на юг, откуда мы пришли. А если вы намерены отдать богу душу, так при чем тут мы? Отпустите нас. Мы с Аджаном унесем бедного ученого, попытаемся спасти его. Не будьте же так упрямы и жестоки. Ну что держит вас здесь? Что?

— Долг! — не утерпел Потапов.

— Долг?! — скривился Сорокин. — И много вы должны?..

Прошла еще неделя и еще неделя. В самом конце февраля Клим пошел с Аджаном за топливом. Близился вечер, а они все не возвращались. Потапов вызвал выстрелом с «Пятачка-ветродуя» Закира, приказал ему стеречь Сорокина с Матиссеном и отправился на поиски. С час, наверно, лазил он по леднику, прежде чем набрел на глубокую трещину, из которой отозвался Клим.

Потапов лег на край трещины, спустил вниз веревку:

— Хватай!

— Ноги, — едва смог вымолвить Клим. Голос его был едва слышен.

— Вяжи за пояс.

Весь напружившись, упершись ступнями в валун, Потапов вытащил из трещины товарища. Клим не мог стоять.

— Ноги, — пробормотал он, — кажется, я зашиб и обморозил ноги.

— Аджан где?

— Убежать хотел. Я за ним. Выстрелил, промахнулся. Он зайцем прыгал. И провалились...

— Да где же он? — в нетерпении переспросил сержант.

— Там, — кивнул Клим на трещину. — Оба мы провалились... Застрелил я его...

Сержант медленно повернулся к товарищу:

— Застрелил?.. Давай я ототру тебе ноги.

Он осторожно стащил с Клима валенки, начал с силой растирать его ноги снегом. Он растирал их до тех пор, пока Клим не почувствовал боли и не вскрикнул.

— Доложите, при каких обстоятельствах вы расстреляли нарушителя границы, — неожиданно потребовал Потапов.

Клим перестал стонать, настолько поразил его официальный тон товарища.

— Докладывайте! — повторил Потапов, продолжая растирать ноги.

— Товарищ сержант, нарушитель бросился на меня... Видно, падая, он не так сильно ударился, как я, и я выстрелил в него... Больно!..

— Терпи! — Потапов с сочувствием посмотрел в наполненные слезами глаза Клима. — Товарищ Кузнецов, объявляю вам благодарность за смелые и решительные действия!

Клим ничего не мог ответить: такой невыносимой стала боль.

— Терпи, терпи, друже, — с улыбкой повторил Федор. — Ну как? Все теперь понимаешь?

— Понимаю, — стиснув зубы, вымолвил Клим.

Потапов сделал из кедровых ветвей волокушу, положил на нее товарища и потащил. Через трещины и нагромождения камней он переносил его на руках.

— Терпи, терпи!..

Вытянув волокушу на тропу, Потапов опустился рядом с Климом, прерывисто дыша, посидел так несколько секунд.

— Поехали дальше! Лавина, того гляди, сорвется. — Сержант показал на огромную снежную шапку, нависшую над ущельем. — Самое время им срываться.

Он согнулся, едва не доставая руками до земли, натянул веревочные постромки, сдернул с места волокушу и медленно пошел, покачиваясь, то и дело приостанавливаясь.

Да, теперь Клим все понимал. Он понимал, до чего же неправильны, наивны были его рассуждения о том, что в эту пору никто не попытается проникнуть через нашу границу ущельем Большая зарубка; он понимал, до какой степени доверчив, близорук был, думая, что Матиссен и впрямь ученый, заплутавшийся со своими провожатыми в горах; он понимал, насколько же прав был Федор Потапов во всех своих поступках и прежде всего в том, что ни на час, ни на минуту не терял чувства настороженности и учил тому его, Клима, с Закиром.

Считая, что они чуть ли не самые настоящие робинзоны, оторванные от всего мира, он, Клим, впадал в уныние, поддавался чувству отчаяния, в то время как они стояли на таком важном боевом посту, на том самом кусочке земли, где начинается Родина...

6

Спустя сутки по возвращении Федора и Клима с ледника к Большой зарубке снова прилетел самолет. На этот раз облака не мешали летчику увидеть крохотный лагерь. Он приветственно помахал крыльями, сделал круг над площадкой «Здравствуй и прощай» и сбросил вымпел.

Федор и Клим с волнением следили, как быстро спускается белый парашютик с красным длинным флажком, пока наконец Потапов не подцепил его стволом автомата.

«Не забыли про нас, не забыли!» Слезы застилали глаза, тугой комок подкатил к горлу, и Клим едва удержался, чтобы не разрыдаться.

А самолет сделал новый круг и сбросил второй, уже большой парашют с объемистым мешком. Увлекаемый тяжелым грузом, парашют почему-то не успел раскрыться полностью и стремительно упал в пропасть.

— Растяпы! — злобно воскликнул стоявший у шалаша Сорокин.

Матиссен — он лежал рядом на одеяле — проводил парашют безразличным взглядом.

Потапов извлек из небольшого металлического патрончика письмо, пробежал его глазами, негромко сказал Климу:

— Пишут, чтобы мы держались до весны. На днях еще сбросят нам продуктов. В мешке — мука, консервы, соль, сахар и лук.

Он сказал это таким спокойным, вроде бы даже равнодушным тоном, словно они не голодали и у них не переводилась всяческая снедь.

7

Каждое утро все раньше и раньше начинали сверкать под лучами солнца оледенелые хребты, и все позже и позже прощалось солнце с горами, уступая место луне. Правда, нередко набегали еще тучи, сыпля снежную крупу, иной раз совсем по-январски начинала реветь пурга и ветер норовил сбить с ног, но чаще всего весь долгий день ослепительно сияло солнце, сугробы таяли и оседали чуть ли не на глазах, и все чаще грохотали в горах лавины. Холодное, удручающее зимнее безмолвие сменялось шумами пробуждения. Все казавшееся недвижимым, мертвым, оживало, оттаивало. Со склонов бежали ручьи. Пробивая себе путь, они журчали под снегом, бурливыми водопадиками бросались в пропасти и ущелья.

С каменных карнизов, совсем как с крыш домов, хрустально звенела капель. Ветви кедров-стланцев и арчи набирали живительные соки, на обнажившихся местами склонах пробились, робко зацвели первые альпийские подснежники.

Из далеких низовых долин потянулись в горы звери и птицы. У ледника целый день перекликались каменные куропатки. Из ущелья спозаранку до поздних сумерек доносилось переливчатое пение синей птицы и неугомонной оляпки. Они как бы старались перепеть и друг друга и весенние голоса горной речки. Суслики вылезали на солнцепек из многочисленных нор, становились столбиками, в упоении посвистывали. Откуда они появились так высоко в горах, где летом-то не тают до конца снега, нередки студеные ветры и падают холодные туманы?

Все кругом звенело, шумело, шуршало, отогревалось, радовалось, прихорашивалось.

Не могли нарадоваться приходу весны, ее голосам и улыбкам и Федор, и Закир, и Клим. У Клима все еще не зажили ноги. Он не мог еще ходить и целыми днями лежал у чума на шкуре марала.

Голоса весны растеребили Клима. Наблюдая за говорливыми ручейками, он видел Волгу, освобождающуюся от ледяного панциря, ледоход и весенний разлив, слышал треск распускающихся почек на березах и кленах, пенье жаворонков, и нестерпимая тоска стискивала сердце. Скорее бы соскочить с поезда, выбраться из вокзальной сутолоки на площадь, на ходу вскочить в трамвай — и домой.

Скорее бы увидеть и обнять маму, посмотреть в ее добрые глаза!

Мама, милая мама! Твой Клим многое узнал за время разлуки. Он стал совсем взрослым и никогда больше не огорчит и не обидит тебя...

Все чаще грохотали в горах лавины. Огромная глыба снега нависла и над «Пятачком-ветродуем», где Потапов и Османов поочередно стояли на посту, охраняя границу. Она могла и не сорваться, эта снежная глыба, а вдруг...

Беда приключилась в тот самый момент, когда Потапов делал на скале сто восемьдесят восьмую насечку. Нарастающий гул, превратившийся в грохот, волна упругого воздуха и облако снежной пыли, долетевшие до лагеря, не оставили сомнений — лавина!

Клим лежал у костра на краю площадки. Вздрогнув, он невольно зажмурил глаза.

— Стереги нарушителей! Я — на «Пятачок». На вот тебе еще пистолет. — Потапов поспешно связал по рукам и ногам Сорокина и Матиссена, схватил лопату и убежал, скрывшись в не успевшей еще осесть снежной пыли.

Клим попытался подползти поближе к костру — и не смог, невольно застонав от боли в ногах.

Что же с Закиром? Неужели его завалило?

Клим посмотрел на горы, и ему почудилось вдруг, что они то приближаются, то исчезают, растворяясь в облаках.

Сорокин и Матиссен — пограничники все еще считали его тяжелобольным — внимательно следили за Климом. Клим не двигался: то ли он потерял сознание, то ли уснул. Матиссен первым окликнул его.

Клим не отвечал.

— Кузнецов! — громко позвал Сорокин.

И опять никакого ответа.

Выждав минуту, отталкиваясь локтями, Матиссен подполз к костру, нечаянно свалил треногу. Со звоном упал висевший над огнем котелок с водой. Матиссен в страхе замер: не разбудил ли он пограничника? Однако Клим по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Выждав с минуту, Матиссен подполз вплотную к костру, выгнул связанные руки, подставил под огонь веревку. Кривясь от ожогов, он то откатывался от пышущего жаром огня, то снова пододвигался к нему, пока наконец не смог перетереть обуглившую веревку об острый камень.

Клим очнулся, услышав какой-то невнятный шум, и не сразу поверил, что видит Матиссена, поспешно развязывающего Сорокина. В волнении Клим выстрелил вверх из пистолета три раза подряд.

— Назад! — приказал он, наставляя на Матиссена пляшущее дуло пистолета. «Выходит, этот ученый совсем не больной!»

Матиссен отскочил от Сорокина. Клим выстрелил в него два раза и промахнулся.

— Назад, к чуму! — повторил Клим, мельком глянул на Сорокина: «Слава тебе — Матиссен, кажется, не успел развязать своего подручного!»

— Камнем его, камнем! — злобно крикнул Сорокин Матиссену, спрятавшемуся за выступом скалы.

— Слушай, ты... ты плохой снайпер... — заговорил Матиссен по-русски. — У твоего пистолета осталось два патрона. Если ты есть мужчина, оставь один патрон для своего сердца...

Спеша на выстрелы, Потапов успел передумать все самое худшее. Пока он добрался до «Пятачка-ветродуя» и откопал из-под снега оглушенного Закира, прошло не менее часа.

Вот и площадка. Клим лежал у костра, сжимая в руках автомат. Неподалеку от чума громко стонал раненый Матиссен. Возле него прижался к камням связанный Сорокин.

— Все в порядке, товарищ сержант! — прошептал Клим.




Цена 15 коп.